

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Наталья Акуленко (Київ)

БЛАГОЧЕСТИВОЕ

СУХОЕ МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО У ДОРОГИ В ЭДЕСС

Казалось, они пришли издалека.

Впрочем, жителям этой деревни всегда так казалось. Деревня была до того маленькой, что ее крошечность накладывала отпечаток на любые расстояния. Прошагавший от рассвета до заката представлялся им храбрым странником. Пробывший в пути целых два дня — пришельцем из диковинных земель, населенных всякими чудищами вроде чернолицых песиголовцев... Хотя сама деревня была прекрасной, вся из белых известняковых домиков под красными терракотовыми крышами. Во дворах зеленели виноградники; пологие холмы за деревней укрывал огромный фруктовый сад. В это время сад как раз цвел, переливаясь всеми оттенками белого, кремового, светло — и темнорозового. Ветер ворошил ковер слабо пахнущих лепестков, укрывающий землю, дороги, крыши... Поистине, земля эта была благословенной.

Младший из путников так и сказал приютившей их женщине, по деревенским меркам почти старухе, вот только набившиеся под платок лепестки молодили ее, делали желанной и загадочной. Впрочем, поправил себя старший, мудрено ли двадцатилетнему мальчишке возжелать женщину, стоящую совсем рядом, в манящей тени низкого каменного забора? И ему, старику, мудрено ли залюбоваться той, которая годилась ему во внучки? Белизна лепестков так красиво оттеняла гладкие черные волосы, подчеркивала блеск темных глубоких глаз.

— У нас есть свое проклятие, странники. — Говорившая улыбалась и улыбка чувствовалась в голосе, смягчая смысл слов. — На дороге в Эдесс стоит старое миндальное дерево, полусухое. Оно никогда не цветет. Когда-то сам Учитель проклял его.

И крестьянка снова улыбнулась, явно гордясь проклятьем, исходящим от самого Учителя.

Младший удивился, вопросительно взглянул на старшего. Но тот промолчал. Снова уселся на пороге, осторожно водя ножом по дереву. Женщина жила одна и старший сразу увидел, какая помощь нужна в ее простом хозяйстве. Прялка, например, совсем разболталась; старик аккуратно строгал деревянные колышки, чтоб заменить ими треснувшие. Когда-то он был хорошим плотником. Две курицы, рыжая и рябая, толклись рядом, рассматривая стружки. Рыжая клюнула землю, сердито затрясла головой, но не ушла. Светлоухий ослик лежал в тени забора, наслаждаясь прохладой. Вокруг юноши вилась одинокая пчела. Ее подруги жужжали в саду — тяжелые, перемазанные желтым, они сердито барахтались среди тычинок, опыляя цветок за цветком. Эта, единственная, сбилась с пути, исследуя курчавый подбородок странника; там остались капли сваренного в меду инжира.

Поистине, земля эта напоминала рай. Старик промолчал, но мысленно согласился со своим спутником. Они могли бы здесь задержаться. Младший еще не кончил укреплять деревянную раму для винограда, да и на холме, в саду, нужна мужская сила, чтобы подновить подпорки для огромных, рассеявшихся под тяжестью плодов яблонь. И старику хватило бы работы в доме дня на три. Хотя на самом деле никто не ждал от них работы в обмен на кров и пищу; и меньше всего эта благочестивая женщина, с радостью пригласившая странников в свой дом.

Они могли бы здесь задержаться, думал старик, выкладывая на порог четвертый колышек, такой же ровный и аккуратный, как и три первых. Могли бы... И он приласкал пеструю курицу, осторожно взерошив перья у нее на спине. Птица замерла, раздумывая — нравятся ли ей новые впечатления? Посмотрела на старика круглым нахальным глазом, сказала: ко-ко-ко, тихо и одобрительно. Старик снова почесал ей спину и легонько подтолкнул во двор, в тень раскидистого платана. Та отошла, расправляя крыло как человек, решивший потянуться. У кур этот жест означает совсем другое, улыбнулся старик, увидев оставленную в пыли черно-белую полосу...



Нет, он здесь не задержится, а его молодой спутник... Мир велик. Однажды в странствиях этот юноша прибил к нему и дальше шел с ним повинувшись только собственной воле... Мир велик; он многое говорит тому, кто готов его слушать. Под этим солнцем все имеет свои сроки. Их глупо угадывать; сроки наступают тогда, когда они наступают... Их можно только полюбить.

И старик снова дружески улыбнулся солнцу. Он любил эту землю; с радостью осел бы на ней, но, оставшись на одном месте, никогда не увидишь того, что ждет тебя за ближайшим поворотом дороги, а потом — за следующим и следующим... Молодой муж, получив любимую жену в полное владение, мечтает разглядеть одну-единственную родинку, годами дразнившую его взгляд в вырезе сорочки. Смотрит — и тут же, на светлой шелковистой груди, видит следующую, спрятанную от взглядов под полотном. А чуть ниже — еще и еще... Старик любил эту землю как женщину, но он был так мал, а она — так велика! Поневоле приходилось быть непоседливым.

Заметив положение тени, он встал для очередного омовения, вечернего, но совершил его чисто символически: погрузил руки в корытце для кур и мокрыми пальцами начертил на лбу крест. Зато молился всерьез, благодаря Бога за журчащее чудо воды, за чудо осушающего воду солнца и невесомого, доступного только мокрой коже, ветерка. И, конечно же, за чудо человеческих рук, взрастивших в степи сад, за чудо человеческой доброты, пригласившей под кров путников...

Потом старик причесал руками бороду, поправил выгоревший холщовый пояс на бедрах и пошел на маленькую вымощенную белым камнем площадь в центре деревни. Доброту, пусть она и была чудом, следовало обрабатывать.

Его ждали. Пятеро женщин тихо переговаривались возле колодца; дети играли возле их ног в бабки, не очень увлекаясь игрой, чутко поглядывая, что делают взрослые. И несколько стариков сидели на единственной скамейке в тени оливы.

— Вечер

будет светлым и ясным, ежели день твой
полон забот разумных. День счастливый
мирно ведет к закату часов летящих... — Тихо продекламировал старик, наклонив голову.

Деревенские ответили ему одобрительным гулом. В поэме Сестрия день был аллегорией всей человеческой жизни. Речь, следовательно, шла о старости и смерти, но старик решил не входить в такие тонкости. Стих казался ему хорош сам по себе и слушателям он определенно понравился, значит почин вышел добрым.

— Спрашивайте, люди садов и олив. Спрашивайте! — И странник почтительно наклонил голову. В тени за невысоким каменным забором показались двое чернобородых мужчин.

— Скажи, знающий, когда Самин встретил Олим возле Мохнатого колодца, куда смотрела ее мать?

Старик растерянно обернулся на голос, высмотрев в тени несколько совсем молодых парней и девушек. Они тоже стояли во дворе за забором, сбившись в кучку. Один из парней прятался за чужими спинами; наверное, он и задал вопрос. Девушки выгоняли его вперед шутивными пинками. Странник приготовился отвечать, но старики зашумели, порицая озорника и уговаривая знающего не обижаться на его глупую шалость.

— Скажи, — это заговорил один из стоящих в тени мужчин, — что ты знаешь о гетанской битве? Почему в преданиях ее называют постыдной?

Этот вопрос был проще. Тут странник мог рассказывать часами, но вместо этого запел тихим дребезжащим голосом:

— Боги и люди глядят на гетанскую битву.

Меч ударяет о меч — это гетанская битва.

Воины ранами платят — это гетанская битва.

Брат выступает на брата — это гетанская битва.

Город могучий разрушен — это гетанская битва.

Женщины ищут и плачут — это гетанская битва.

Видят они только мертвых — это гетанская битва.

Город уже не отстроить — это гетанская битва.

В поле пируют шакалы — это гетанская битва.

Нету на свете Гетаны — это гетанская битва.



— Достойный вопрошающий! После битвы Гетана так и не возродилась. Постыдной же ее называют потому, что в ней два брата-царя, выступив друг против друга, разрушили то, что поклялись вдвоем защищать.

— И все? — Задумчиво повторил спросивший. — Я слышал, Амолий применил недостойную хитрость, заключив тайный союз с хагетами.

— Она не имела значения для исхода битвы, вопрошающий.

По уговору хагеты сидели в засаде до полудня, и, когда солнце призвало их на поле боя, было уже поздно. Воины обеих сторон перемешались так, что кочевники не могли отличить своих от чужих. Собственно, для них все гетанцы были чужими. Они так и не вступили в битву.

— Не было ли постыдным такое невмешательство?

— Не мне судить об этом... — Подумав, странник добавил: — Хагетский царь выступил на стороне Амолия, жениха своей дочери. Ровно в полдень конница показалась под стенами Гетаны, возле ворот, где шло сражение. Сама дочь ехала рядом с царем, вооруженная, как и все незамужние хагетские девушки, которые в те времена сражались наравне с юношами. А семейным хагетам — и мужчинам, и женщинам — считалось неприличным сражаться. И когда кочевники увидели, что делается возле ворот, царь спросил свою дочь — Хочешь ли ты вступить в битву? Смотри, эти ползающие за сохой так перемешались, что я не отличу одного от другого. Нам придется топтать конями и поражать стрелами всех без разбора. Кричать ли мне атаку?

— Нет. — Сказала девушка. — Нет. Среди них Амолий. Лучше пусть его убьет брат или кто-то из гетанцев, а не наши соплеменники.

— Ну и ладно. — Сказал царь. — Лишь бы ты была довольна. Мы не станем убивать и грабить этих ползающих, ведь среди них есть наши союзники.

И все войско отъехало в тень от городской стены.

Потом, когда битва кончилась, хагеты помогли гетанским женщинам разбирать и хоронить трупы.

И старик изменил свой голос, сделав низким и гулким неожиданно для слушателей. — Вот как это было, люди садов и олив! Вот как кочевники-хагеты участвовали в гетанской битве!

Есть ли в этом бесчестье, судить вам, а не мне.

— Ты говоришь так, как будто был при этом!

Пораженные люди стали торопливо оглядываться, высматривая заговорившего. Теперь на площади сошлась вся деревня; одинокий мужчина мог бы затеряться в небольшой толпе... Но не этот. Сам странник заметил его не сразу, но узнал, как только увидел.

Нет, старик никогда не встречал этого человека, но щуплый мужчина в грубом синем фаросе был не таким как остальные. Он казался каким-то спокойным. Глядя в глаза незнакомца, старик подумал: “Так мог бы смотреть человек, явившийся на деревенскую площадь без чего-то очень важного — руки или ноги. Да, он смотрел бы так озабочено, если бы ему пришлось обе свои ноги оставить дома.”

Мысль эта выглядела откровенно несуразной, но вслед за ней старик подумал о наступивших временах и о своем ученике — совсем мальчишке по его, стариковским меркам.

— Прости его. — Сказал старику еще один из подошедших слушателей, староста деревни. — Это купец из Самии, он не привык к нашим обычаям.

И странник молча улыбнулся, показывая что не сердится.

— Скажи, знающий, — нерешительно спросила одна из присевших возле колодца женщин, — какие чудеса совершил Учитель на Мессайской свадьбе?

Старик стал, медленно припоминая, отвечать ей.

Потом страннику задавали новые и новые вопросы. Он говорил долго.

Небо над оливами стало темнорозовым, почти красным. Староста урезонивал односельчан, говоря, что священные гости устали, пора и отдохнуть.

Увидев, что вопросы окончились, старик сел посреди площади на все еще теплые камни. На самом деле он не устал, но было так приятно помолчать и расслабиться. Человек с беспокойным лицом встал напротив старика, потом, подумав, присел рядом на корточки.

— Ты надолго останешься в этом селе, знающий?



Старик посмотрел на темневшую против света голову.

“Времена” — вздохнул он про себя. Около колодца сидел усталый раскрасневшийся ученик. Молодой спутник всегда уставал больше, чем он сам, отвечавший на вопросы. “Времена” — думал старик, глядя с сожалением на взъерошенного юношу. “Зачем я спешу? Боюсь, что это ускользнет от меня?” Но в глубине души знал ответ. Старик любил жизнь; любил, как женщину; ему не терпелось познать ее всю.

— Завтра утром мы уйдем по дороге в Эдесс. — Решил знающий. И потом молча, без удивления, слушал как человек с неуверенными глазами напрашивается ему в попутчики.

Они вышли рано. Незнакомец прибежал во двор едва рассвело. Он помогал старику с прялкой, пока юноша укреплял последние рамы на винограднике. Хотя напросившийся в попутчики годился только на то, чтобы поддержать прялку в нужном положении.

— Варварский обычай. — Проговорил незнакомец, глядя, как старик с натугой выбивает из дерева треснувшие колышки и, с еще большим трудом, вколачивает на их место новые. — С гвоздями намного проще.

Он так и не назвал своего имени. А старик не стал спрашивать. Рано или поздно человек с беспокойными глазами представится. Такие люди всегда говорят свое имя; настоящее имя. Правда, говорят они его тогда, когда, по их понятиям, слишком поздно что-то изменить.

— Люди олив стараются делать свою домашнюю утварь без железа. Особенно женщины. Считается, что железо заставляет их быстрее стареть.

— И ты веришь в это? — Тонкий слух постоянного рассказчика уловил в голосе незнакомца презрение. Хотя говоривший кажется и не скрывал его.

— Зачем мне верить или не верить? Я могу только знать... А об этом я ничего не знаю. Притом... В Земле Олив железные гвозди дороги.

Незнакомец, покраснев, промолчал, а старик незаметно улыбнулся. Купец из Самии должен знать, что гвозди в прялке — слишком роскошно для одинокой деревенской женщины... Юноша все еще работал во дворе и не слышал их разговора; он, кажется, так и не заметил в незнакомце ничего необычного.

Теперь они втроем шли по дороге в Эдесс; шли молча. Юноша не мог оторвать глаз от плывущего навстречу сада. Старик шурился на солнце. Незнакомец тоже шарил по цветущим деревьям жадными голодными глазами, но восхищенья в них не было. Потом он смотрел вниз, на дорогу. Дорога была немой, она ничего не говорила о прошедших до них путниках. Тонкие сыпучие лепестки не хранили следов; каждый порыв ветра гнал и ворошил их, добавлял пригоршни новых.

Ближе к полудню они увидели сухое миндальное дерево. Не узнать его было трудно. Огромное, светлое, оно как прозрачная тень перекрывало панораму бело-розового цветения. Ветки были светлосерыми, кое-где, на очень немногих, виднелась прозрачная зелень. Незнакомец остановился. — Почти полдень. Мы могли бы пообедать здесь.

— Почему нет? — Согласился с ним старик. Он улыбался. Ожидания его оправдались, хотя это не требовало большой проницательности.

— Мы... здесь остановимся? — Нерешительно спросил юноша. Он смотрел в лицо старика и шурился, как будто ему было больно.

— Хорошее место. Здесь останавливался сам Учитель. — И старик кивнул на серое пустое дерево. — Приметное место.

Он сел под дерево и опустил голову, развязывая свою котомку.

— Учитель... Учитель... — Пробормотал незнакомец. — Он точно останавливался здесь?! Как будто старое дерево не могло засохнуть само по себе! Почему вы, сказители, самое важное приписываете человеку, который то ли существовал, то ли нет?! — Он так и не сел, так и не прикоснулся к своей торбе.

— Учитель существовал! — Возмутился юноша.

Старик промолчал, улыбнувшись.

— Почему? Потому что это написали трое его учеников? — Резко воскликнул незнакомец. — Люди могут лгать, мальчик... Ты удивился бы, узнав как часто и охотно они лгут.



— Для того чтобы лгать, надо знать, в чем именно заключается правда. Это трудно. Ты и сам... — Старик замолчал, улыбаясь в зеленоватые глаза попутчика.

— Что — сам?! — Переспросил почему-то побледневший незнакомец.

— Людям олив ты говорил, что веришь в Учителя. Сейчас готов утверждать, что не веришь в Него... Ты думаешь, что сперва солгал, а потом сказал правду, да? На самом деле оба эти утверждения стоят друг друга.

— Где же правда? — спросил попутчик с вызовом.

— Ты ненавидишь мысль о том, что некто, безмерно превосходящий тебя, ходил по этой земле. Что его, мертвого, до сих пор любят и почитают больше, чем тебя, живого. — Голос старика звучал ровно и равнодушно, противореча его же словам. — Ты тянешься к этой мысли и страшишься ее, гонишь ее от себя... В твоём сердце Учитель все еще живет, потому что несуществующий не может вызвать столько живой страсти...

— Ну и что?

— Для меня он более мертв. Он был. И он умер. Жизнь не остановишь, как не остановишь набегающую на берег волну. За столько лет все меняется... Я почти не помню этого человека.

— Ты не мог знать его! Больше ста лет...

— Да. — Сказал старик. — Больше ста лет. Намного больше. Пора бы и успокоиться. — Старик поднял голову, взглянул на выступившие из-за деревьев фигуры и снова улыбнулся. — Как мало нового может произойти в этой жизни, а, поди ж ты, до сих пор интересно. — Он отвел взгляд от солдат и взглянул в лицо попутчика. — Теперь ты — целый. Когда я впервые увидел тебя в деревне, ты, незнакомец, глядел так, как будто забыл дома ноги или руки. — И старик тихо хихикнул. Юноша, глядя на старшего, тоже неуверенно улыбнулся.

— Меня зовут Фарий Фульцитор. — Надменно отчеканил незнакомец. Он взглянул грозно, но оба странника и бровью не повели. Это имя было им незнакомо.

— Из людей императора? — переспросил старик. Он окинул взглядом десять мужчин в панцирях, стоящих за спиной незнакомца, то есть уже Фария. Загорелые, крепкие... Тоже смерть. Не хуже любой другой... — решил знающий. На лице его играла лукавая улыбка.

— Я не верю в вашего Учителя. — Отчеканил Фарий. — А ты утверждаешь, что веришь в него?

— Верю — не верю... — проворчал старик. — Мы уже говорили об этом. Я его знал. Я помню... Плохо, далеко, но помню. Помню, как на Мессайской свадьбе превращалась вода в вино; как визжала невеста; каким было лицо у флейтиста, когда он поднял вверх стакан с водой, а потом опрокинул его себе в горло... А там! — И старик снова хихикнул.

— И Он воскресил брата той женщины? — Тяжело, негодуя переспросил Фарий.

Старик помолчал, опустив голову.

— Воскресил. Воскресил, но это не то чудо, о котором приятно вспоминать. Оно пахнет тленом... И брату ее лучше было бы остаться в могиле. Во второй раз его убивали долго... Мучительно.

И старик страдальчески поморщился, глядя на блестящие панцири.

— Так вас, последователей Учителя, можно испугать? — Поинтересовался Фарий.

— Нет. — Сказал юноша.

— Да. — Сказал старик. — Испугать можно каждого. — И он снова улыбнулся.

— Да? — Иронически переспросил его незванный попутчик.

— Да... Да. — Снова улыбнулся старик. — А что?

— Ничего... — Пожал плечами Фарий. — А как еще можно получить от вас ответы?

Оба — и старик, и юноша — удивленно уставились на него.

— Не те байки, которые вы часами травите возле каждого колодца, а ответы? Ответы на мои вопросы, на том языке, который я понимаю. Как видите, я знаю ваше наречье, но что вы на нем бормочете?

Я привык к языку Империи. Он прост, очень прост: да-нет, был-не был, умер-воскрес, или не воскрес, что еще вероятнее. Но вы... Что вы делаете с человеческим языком?! Вы издеваетесь над собеседником!

Над деревьями подул ветер; вороха лепестков снова закружились в воздухе, скользя вниз, цепляясь за волосы незнакомца, то есть, да, Фария. Он раздраженно стряхнул их.



— Если я спрошу вас, существует ли смерть, вы меня спросите: как я понимаю смерть?
Если я спрошу, существует ли Бог, вы меня спросите: что такое существовать?
— Сначала я спрошу тебя, что такое Бог. — Мягко перебил старик.
— Вот именно!
— И ты будешь думать. Ты и сейчас думаешь о Боге, для тебя это трудно, но причем здесь я?
— Ни при чем. Ты не виноват, что наши мысли текут по-разному. — Согласился Фарий.
— Но ты пришел сюда и тебе придется побыть простым орудием.
Отойдите! — Резко крикнул он солдатам и те отступили шагов на пятнадцать.
Я решил убедиться. — Сказал Фарий. На щеках его набухли желваки, но глаза — заметил старик — остались такими же спокойными.
— Решил проверить раз и навсегда.
Если это сухое дерево расцветет, я поверю в твоего Учителя.
Фарий, набычившись, взглянул на своих спутников. Шея его покраснела; такой вид требовал богатырской стати и странно сочетался с небольшой щуплой фигурой. Старик смотрел на него вопросительно.
— А если нет... Я не понимаю ваших хитростей. Обратись в свою веру важного имперского чиновника, что может быть заманчивей?! Но вы так хитры, что готовы перехитрить сами себя! Если нет, я велю приколотить тебя стрелами к этому стволу!
Между тремя бывшими попутчиками повисла тишина, жирная и слегка жужжащая, как большой черный шмель, завязший в чашечке цветка. Старик раздумывал.
— Ты меня искушаешь, Фарий. Откуда тебе знать, чего я хочу больше всего? — И старик снова задумался.
— Нет. — Сказал он наконец. — Нет. Разве так приходят к Богу?
Если я тебя обращу, ты возненавидишь Его еще больше.
— Не передергивай. — Сказал Фарий. Он дышал тяжело, смотрел себе под ноги. Кто-нибудь совсем посторонний подумал бы, что это его собираются пытать. Или уже пытают. — Все очень просто. Я служу Империи; она сильна и может убить любого. — Фарий с угрюмой гордостью кивнул на свой десяток. Теперь они стояли с поднятыми луками. — Если ваш Бог может воскрешать убитых, он сильнее и вправе требовать большего почитания, так же, как Император может отменить приказ сотника.
— Это не так, Фарий. — Старик опять мученически поморщился. — Бог действует в тебе, внутри тебя. Ему не нужно брать тебя силой. И сам ты, взятый силой, не нужен моему Богу.
— Казуисты! Какие вы казуисты!
Впрочем, — Теперь Фарий мрачно усмехнулся ученику, — Ты тоже можешь спасти своего наставника... Если силенок хватит.
Ученик смотрел на Фария. Он старался улыбаться. Старался выглядеть спокойным. Получалось не очень. — У меня хватит силенок уважать своего наставника. А ты спасай себя сам.
— Н-ну... — Сказал Фарий. Он потер рукой свою небольшую круглую лысину.
Стрелы мелькнули в воздухе, соревнуясь с кружащимися лепестками. Они прошли мимо... Почти все, только одна впиалась в сухой серый ствол, пригвоздив к нему старика на уровне сердца. Тот несколько мгновений корчился, потом бессильно откинул голову.
— Вот. — Сказал Фарий. — Вот!
Вы не можете, и никто не может! Зачем же было лгать?
Он махнул своему десятку и медленно, не попрощавшись, побрел за солдатами в сторону Эдесса.
Пока имперцы не скрылись из виду, юноша стоял неподвижно. Потом он закричал и бросился к старику.
Прибитое к дереву тело все еще улыбалось. Соскальзывая, ранив пальцы, ученик дергал стрелу, пока не выломал ее из ствола. Древко с опереньем осталось в руке юноши; тело тяжело упало под ноги. Юноша замер, уставился растерянными глазами, не в силах поверить в полную неподвижность лежащего на земле.
— Но я не мог. Действительно не мог, или...



Ученик открыл глаза. Перед его носом розовел цветок. Один-единственный на огромном дереве.

— Он здесь был раньше. — Сказал юноша как зачарованный. — Нет... Его здесь не было. А какая разница?

Он разрыдался. Потом, вытерев слезы, осторожно уложил тело старика. Посидел. Разрыдался снова. Поцеловал своего мертвого спутника и разрыдался еще раз. Потом юноша пошел обратно в селение. В конце концов, у него даже не было лопаты, чтобы вырыть могилу Учителю.

Старик проводил его незаметным взглядом из-под ресниц. Когда ученик скрылся за поворотом дороги, он тяжело неуклюже сел, привалившись к дереву. Смущенно провел пальцами по щекам, посмотрел на мокрые кончики... Это несправедливо — подумал старик. Он еще столько мог рассказать и показать этому глупому мальчику! А теперь его ученик будет один — со всей своей неопытностью, неуверенностью, пустыми детскими страхами! Это больно, это так больно — разрывать пуповину.

Но чем больше ученик возьмет от Учителя, тем меньше останется от него самого. А в мальчике есть свое: истовость, основательность. Старик жил легко и радостно, а ученик приносил в это занятие такую страсть, которую его спутник не встречал ни в ком другом. Он может стать особенным, не похожим на других знающих... Хотя — подумал старик, — не особенных знающих не бывает.

В каждом есть свое, главное, поэтому знающий должен искать собственный путь, это пусть имперцы растят детей одинаковыми, как горошины из одного стручка, правда, у них все равно не получается... Покачивая головой, старик посмотрел на дорогу в сторону Эдесса и хитро улыбнулся. Посмотрел в другую сторону; с легким стыдом подумал об ученике. Сердце уже не болело — ни от стрелы, ни от разлуки. У него было много спутников; и этот тоже... Сколько лет — столько расставаний, но потом... Все когда-нибудь снова встречаются.

Он потянулся за своей котомкой, завязал ее, повесил на плечо. Тут же валялась развязанная торба ученика. Старик подобрал ее, затянул и аккуратно прислонил к дереву. Лепестки около корней стали темными и жесткими от крови, но их уже засыпали мягкие, бело-розовые.

Старик вздохнул. Земля звала его; она не могла надоеть, но важное, главное в любой жизни снова откладывалось. Он узнает; когда-нибудь он узнает все... Но не сейчас.

Странник поднялся, готовый в дорогу, и вдруг остановился. Он увидел ветки, колючие от множества мелких, круглых, еще зеленых бутончиков. Они росли на глазах. Когда юноша вернется с крестьянами, все эти цветы распустятся, смущенно подумал старик.

Это было неправильным. Дереву, превратившемуся в легенду об Учителе, цвести не следовало... Особенно ему не стоит цвести сейчас, когда оно может превратиться в еще одну легенду. Слишком много чудес... Одним они дарят надежду, но других эти же легенды дразнят, обманывают, отвлекают от главного. И их, других, тоже нужно понять. Даже сейчас — столько злости, смятения; столько ревности... И странник с мимолетным сочувствием вспомнил Фария. Сколько лет предстоит мучиться бедному имперскому чиновнику, пока кто-нибудь сможет ему помочь? И сможет ли вообще? Да, есть люди, которых чудеса только пугают; их жалко как глупых больных детей... Но если старое сухое дерево хочет расцвести, разве старик мог помешать ему?

УКЛОНИВШИЙСЯ

— Нет, вы не умрете. Здесь никто не умирает.

Густав Енсен взглянул в лицо Учителя. Тонкое золотистое лицо не менялось, оно выражало вдумчивое, насмешливое любопытство. Учитель казался китайцем, скорее даже уроженцем Тибета, был одет в потрепанные джинсы и выгоревшую тенниску. Никаких признаков аскетизма и эзотерической мудрости в нем не просматривалось. У Енсена закружилась голова от нелепости происходящего. Этого просто не может быть. Он сейчас где-нибудь во Франции, в светлой палате, густо набитой параллелепипедами приборов, сквозь полосы жалюзи виден ворс газона и угол следующего корпуса, каждое движение наружного воздуха фильтруется бдительной пастью кондиционера, а приветливая улыбка медсестры напоминает ему, нестарому подтянутому мужчине, что люди вообще смертны и огорчатся по этому поводу ни в коем случае не следует.



Все остальное уже не поместится в его жизни. Эти горы в резких, блестящих бликах, душистая трава и неровный пронизывающий ветер, парень с насмешливыми и снисходительными глазами, которого сморщенные от старости крестьяне боязливо называют Учителем, — они могут быть на экране, на фотообоях, в каком-нибудь глянцево, беспардонно рекламном буклете... Но тогда нет или скоро не будет и его, Енсена. С усилием заставив себя поверить в реальность происходящего, Енсен спросил — Совсем никто не умирает?

Учитель усмехнулся барственно, но ответил, вежливо помолчав, как бы припоминая подробности.

— Бабочки умирают. Я видел.

Енсен снова не мог понять, вежливость это или насмешка, и если бы боялся только смерти, то вернулся бы домой, в Европу. Но ему было не просто нечего терять, он терял то, что потерять ни при каких условиях непозволительно.

Кто-то, совершенно посторонний Енсену, как бы стоящий за его плечом, торопливо сказал: — Если это возможно, я останусь.

Учитель не высказал радости. Но он не высказал и озабоченности, не стал изображать, что в ущерб себе делает одолжение Енсену. Он ровным голосом продолжал — Часть времени вам придется работать на грядках. Мы продаем корень и на эти деньги живем, все пятеро.

— Да. Но... Очень скоро я вряд ли смогу... — Начал было Енсен, упираясь взглядом в тонкое неподвижное лицо.

— Нет. — Снова сказал Учитель. — Вы выздоровеете. Ступайте к Пуру. Утром я дам настойку.

Учитель указал несколько в сторону. Из-за невысоких зарослей выглядывали хижины, похожие одновременно и на шалаши, и на звериные логова. Обступившие горизонт горы не стесняли миниатюрную долину, а как бы бережно подносили ее небу на своих пологих циклопических боках. Енсена пробирала дрожь. В одной из этих лачуг находится Пуру, новая жизнь Енсена и просто его жизнь. Почему-то в это невозможно было не поверить. Небрежным жестом Учитель обещал так много, что возмущение Енсена смешалось с унижительной звериной преданностью. Он торопливо поблагодарил и, сделав вид, что принимает все как должное, пошел по тропе, сдерживая шаг, чтобы не побежать и выглядеть со спины пристойно.

Вблизи низкие занозистые хижины смотрелись не так уж плохо. Пучки саблевидной травы полускрадывали их, а самые рослые из цветов-метелок нависали над крышами. Из-за гор и зарослей огромной травы лачуги и остальной пейзаж казались мелкими как японский садик. Миниатюрный крестьянин сидел на корточках, прислонившись к серебристой стене ближайшей хижины. Солнце светило ему прямо в лицо и он опустил веки.

На самом деле крестьянин был невысоким и щуплым, но не карликом. Узорчатые фольклорные штаны прихватывали зеленую футболку с белой арабской надписью; с темной жилистой шеи свисал пластиковый ремешок от фляги или бинокля, на котором держалось что-то вроде брезентового кисета; из-под штанин выглядывали маленькие босые ступни. Енсен решил, что перед ним местный житель, слегка переодетый цивилизацией. Вся одежда крестьянина успела выгореть и обтрепаться куда сильнее, чем у Учителя. Крестьянин крутил в руках огрызок сочного шестигранного стебля, откусывал от него, медленно разжевывал, сплевывал в сторону, откусывал, разжевывал, сплевывал и так далее. Чуть дальше, за хижинами, росли целые заросли таких стеблей, увенчанных мелкой розоватой пеной цветов и широкими кружевными листьями. Крестьянин не казался ни молодым, ни старым, ни веселым, ни грустным, ни живым, ни мертвым, но свой кусок пространства занимал с такой непреклонностью, что Енсен помимо своей воли смутился, занервничал и позавидовал.

В полдень на солнцепеке казалось неловким куда-то спешить. Енсен уже собирался присесть рядом, когда крестьянин поднял голову. На аккуратно расчерченном морщинами лице возникли глаза. Они никуда не вели, или вели неизвестно куда, как вырубленный в скале колодец, сырые стены которого полностью затеняют заиленное пересохшее дно. Впрочем, первое впечатление задержало Енсена ненадолго. Крестьянин поднялся, приложил к груди руку, сказал "Пуру" и открыл дверь. С тупым удивлением Енсен подумал, что дверь не скрипит — значит, ее хотя бы изредка смазывают.



Внутри было темно. Енсен увидел маленькое окошко, забитое какой-то полупрозрачной пластмассой, некрашенные и неструганые стены. Между двумя топчанами блестела крошечная железная печка. Енсен решил, что такими печками обогреваются альпинистские палатки. Печка выглядела новой и дорогой. На земляном полу стояли деревянные разрисованные миски, валялся электрический фонарик, рваная кожаная сумка, какие-то веревки. На топчанах барственно развалилось по пухлому спальному мешку. Один из них казался совсем новым. Пуру сделал неопределенный жест и Енсен с замешательством догадался, что это место и этот спальник приготовлены для него.

— Енсен, — сказал Енсен. Пуру сделал еще один неопределенный жест: не то не понял, не то отмахнулся.

Енсен еще ничего не решил окончательно, но уже почувствовал, что время течет и решает само собой, не требуя его вмешательства. Он вошел в новую жизнь не ощутив перемены, так блестящий десятицентовик, еще не остывший от пальцев кассирши, падает в воду и медленно укладывается на дне среди разноцветных окатанных морем камней и прозрачных крабиков. Невероятность произошедшего полностью соответствовала его очевидности. Размякший на солнце день продолжался. Енсен сел на землю недалеко от Пуру, расстегнул режущий брючный ремень и подумал, что скоро заменит его веревкой из тех, что валяются в углу за топчаном. Солнце все еще грело. Сборы и прощания с друзьями, такси и таможня, прикрытая облаками земля, ослики, разносчики, смуглые и грязные до черноты дети, разбитый умывальник в гостинице, неправдоподобно громкие цикады — все это стремительно сжималось в яркое размытое пятно, которое снова стягивалось в точку и пропадало из виду. Последними мелькнули две-три улыбки, косвенный женский взгляд, футбольное поле и черная демонстрационная доска с несколькими формулами — одна из формул была очень важной, но Енсен не разглядел ее. Вместо этого он закрыл глаза и расслабился, а расслабившись почувствовал, что ему что-то сильно мешает. Он открыл глаза. Пыльные утоптаные тропинки, гигантские пучки травы и серебристые стены выглядели вполне идиллически, но самой идиллии в этом пейзаже не было. Потом Енсен догадался, что не слышит ни звука. Не шуршали листья, не перепискивались птицы, не скрипели кузнечики. Это могло быть от полдневной жары. Он снова закрыл глаза, снова открыл их и машинально взглянул на небо. Небо было темно-синим. Может быть из-за высокогорья, а может, небо и не было синим, а только казалось таким Енсену. Еще Енсену показалось, что глубокая синева как занавеска прикрывает от его глаз что-то настоящее, какую-то подвижную, беспокойную и в то же время совершенно равнодушную глубину.

Усталый, одуревший, разморенный не в меру затянувшимся днем, Густав Енсен посмотрел на небо и встретил взгляд, который не то чтобы оценивает или наблюдает, а просто — смотрит, или даже скорее — засасывает.

Первую ночь в горах Енсен приготовился проворочаться с боку на бок, но под утро неожиданно для себя заснул. Ему приснились два огромные демона, серые и мягкие, как паутина. Они бесшумно летели над ночной землей и несли Енсена. Потом внизу показался город. На самом деле Енсен вырос в маленьком заштатном городке, но во сне этот огромный светящийся город был его родиной. Енсен всматривался в циклопическую геометрию домов, в катящиеся по магистралям потоки огней, в наполненные теплом и шумом чаши стадионов и прощался с ними. Демоны показали Енсену город и молча понесли его дальше.

2

Стин выпрямился и огляделся. Панорама с красиво напряженными линиями гор ринулась навстречу, и вдруг отпрыгнула, стала маленькой и плоской, как в перевернутом бинокле. Стину показалось, что он видит ее впервые. Он в который раз почувствовал себя прозревшим слепцом, хотя скорее он был воскресшим покойником. Дело в том, что Густав Енсен не умер. Эта простенькая мысль поразила его с такой остротой, что плоский глянец от солнца пейзаж оглушительно завопил всеми своими красками и у Енсена снова перехватило дыхание.

Теперь Стин пропалывал грядки. Немудрящая крестьянская работа оказалась весомой и нервной. Заблудившиеся между небом и землей токи, теплые и будоражащие, проскальзывали



через тело Стина. Терпкий запах чернозема нежно покусывал босые ступни. Мелкие жестколистныи кустики корчились в его загрубевших пальцах и, выдернутые из земли, взволнованно вскрикивали. Травинки глухо стонали: в земле у них оставалось корневище и возможность выжить. Кончиками пальцев Стин слышал это так явственно, что не мог доверять слуху. Впрочем, слух тоже по-своему дурачил Стина. Вкупе с осязанием слух норовил заменить зрение, и Стин отчетливо видел длинное многоногое тело ветра, притаившееся между кустов, чтобы, прыгнув, прижаться к горячей человеческой спине. Почувствовав прильнувшую ледяную кошку, спина начинала гореть и это состязание нравилось Стину. Тени высоких перистых облаков нежно гладили его тело, а когда над долиной проплывало дородное кучевое облако, Стин всей кожей ощущал его огромную рыхлую влажность.

Ближайшая из гор тоже играла с ним в сложную заковыристую игру: когда Стин выпрямлялся, она с независимым видом отодвигалась куда-то на край горизонта, но стоило ему склониться над грядкой, и гора нависала над ним, почти царапая плечи своими ледяными отрогами. Стин привык и уже не отвлекался на ее хитрости. Это было легко. Но привыкнуть ко всему сразу, ко всей обступившей его дразнящей, заманивающей, дурманящей жизни оказалось невозможным. Густав Энсен бесславно растворился в ней, от него оставался только Стин — ничтожная часть прежнего Энсена, растерянная, опьяненная и странно равнодушная ко всему, что когда-то составляло смысл его жизни. Впрочем, и со Стинoм все оказалось не так просто. В нем чувствовалась новизна. Временами он становился вовсе незнаком Энсену, удивляя его другим взглядом на вещи, очевидным, но ошеломляюще неожиданным, внушающим прежнему Энсену почтительную оторопь...

Густав Энсен снова выпрямился, переждал новый толчок головокружения от обступившего его простора, сел на камень и задумался. Сначала в его голове сменялись не фразы, а ощущения. Неоформленные обрывки мыслей проплывали в сознании как плывут струи, как плывут светлые верткие рыбки в толще ручья. В их течение вплеталось напряжение и потрескивание разогретого солнцем камня, хруст и трение его разнородных частиц, глубокие как терпение вздохи лишайников, жар солнца, его быстрая и жесткая ласка на загорелом дочерна лице и все это так плотно сливалось со скользящими мыслями, что для собственно смысла, для любого отвлеченного значения не оставалось ни щели, ни паузы.

Быстрая хищная тень скользнула по щеке Энсена. Гортанная, тревожная, похожая на далекий отрывистый крик... Но сама птица уже пролетела или была невидима в глубине неба.

И все же... Он, Густав Энсен... Ах да, он — европеец... Он приехал сюда с какой-то целью. Он выжил с какой-то целью. И его цель не выполнена и, если так пойдет дальше, никогда не будет выполнена. Да, там, дома его жизнь была на что-то направлена, а здесь... Рука Стина нечаянно подобрала прутик с созревшей, отслоившейся корой; прикосновение к влажному бархатистому дереву ворвалось в сознание и перечеркнуло все. Ощущение оказалось не то чтобы трусостью — смыслом, который со всей простотой и непреложностью отменяет остальные смыслы.

— Но ведь есть это мгновение. И жизнь. И что-то третье — невозможно!

Жадно расширенные глаза Стина следили за скользящим вниз коршуном. Птица снижалась, прорисовывая в небе пологую раскидистую спираль; вороненое оперенье вспыхивало на солнце ослепительной белесой точкой. С невероятной высоты коршун заглянул в глаза Стину. Бусинки глаз были неразличимы, но сам взгляд на мгновение завис между ними, пружиня и раскачиваясь как натянутая струна.

— Он — смерть. Он не смеет здесь охотиться. — Подумал Энсен. И коршун покорно скользнул к горизонту.

Стин взялся за тяпку. Прополотые грядки требовалось аккуратно разрыхлить. Он снова почувствовал вязкую землю, ветер, переменявший направление, потеплевший и обмякший, оргазм сосущего кровь комара — и снова захлебнулся полнотой бытия. Тяпка была маленькая, детская, действовать ей следовало с ювелирной осторожностью. На рукоятке еще чувствовались теплые сухие пальцы Учителя, а из-под них пробивался отпечаток жирной и потливой руки Джо.

— Ну и что? — мелькнуло в голове у Стина. — Джо — славный малый.

Джо был славным малым. Они все были славными малыми, почти начисто лишенными каких-либо других качеств, но славными. Обращай они друг на друга больше внимания, в их



маленькой колонии вместо безличной доброжелательности царила бы братская любовь. Впрочем... Прежний Енсен никогда бы не поверил, что полная, почти божественная доброта настолько неотличима от равнодушия. Он и сам все больше превращался в благого тугоухого восточного божка, вернее говоря, в благоую толстобрюхую статуэтку, потому что кто знает, что чувствуют боги, да еще и восточные? И, конечно, Учитель, вопреки своему прозвищу, никого ничему не учил.

Может быть, им мешала ошеломляющая полнота жизни, ее тяжесть, вкус, цвет, запахи, от которых перехватывало дыхание, но и еще что-то, в чем ни Стин, ни Густав Енсен не успели разобраться, хотя оно явственно присутствовало. Только загадочное подспудное “что-то” и прежняя, почти забытая цель европейской жизни Енсена еще удерживали его сознание на плаву, не давали полностью раствориться в теплом, ровном, нерасчлененном потоке жизни...

Стин огляделся и вздрогнул.

На идеально прополотых и разрыхленных грядках отчетливо виднелись те растения, которые они называли просто “корень”. Растения стояли рядами на крепких красноватых ножках, задиристо подняв курчавые стрелки, усыпанные мелкими листиками и ягодами. Вокруг каждой ножки с неестественной правильностью лежала розетка крупных пятиугольных листьев, похожая на упавшую балетную пачку. Но не очевидная одушевленность этих крошечных кустиков смущала Енсена. Он всем телом, до дурноты чувствовал взгляд черных глянцевого ягод, как бы для маскировки подернутых слабым восковым налетом.

Енсену который раз показалось, что если стереть тонкую белесую пленку, откроется не блестящий бок ягоды, а абсолютная чернота и пустота, сквозь которую в него вглядывается нечто... Черное? Ночное? Скорее просто — абсолютное, затаившееся за гранью человеческого понимания. Прежний Енсен счел бы это чувство блажью, игрой расшалившихся нервов, но у Стина вовсе не было капризных европейских нервов, привыкших шалить. Он верил ощущениям, не проверяя их умственными спекуляциями, и эти растения он чувствовал и понимал куда глубже, чем Енсен. Очевидно, около этих кустиков каждому становилось не по себе. Несмотря на чудодейственную силу растения и невероятную цену (хотя цены, как таковой, как раз не было: окрестные крестьяне и перекупщик с поклонами брали, что дадут и отдавали все, что пожелает кто-то из их маленькой колонии; то, что желания были скромными, пожалуй только усиливало суеверный ужас...) Да, несмотря на чудодейственную силу и чудовищную цену, посадки оставались совсем маленькими и больше часа на этих грядках никто не задерживался. Ягоды пугали — для Стина это было очевидно; так же очевидно, как коричневый медовый запах лугов и острый привкус земли в воздухе и еще какие-то отдаленные запахи — чистоты, молчания, мокрого гранита; как слабое пощипывание солнечных лучей на скулах; как невесть откуда долетающее чмокание неподкованных копыт по горной дороге и почти незаметное шелестение босых ног... Стину пришлось прислушаться, чтобы определить источник звука — справа и сзади, пока он не нашел в памяти нужный поворот дороги и наклоненное к нему разлапистое дерево, не учуял вспорхнувшую над ним тонкую беловатую пыль, не решил, что часа через два человек с осликом подойдет к их хижинам, не вспомнил, что Джо заказывал перекупщику ящик пива. “Возьму банку” — лениво решил Стин.

Он еще не успел проголодаться; до наступления жары оставалось достаточно времени — и Стин выбрал самую пологую и неторопливую кружную тропинку, мимо маленького озера и снова, уже во второй раз зацветающих деревьев, похожих на дикие груши; тропинку, на которой ноги несли сами собой, а роскошная панорама с женской настойчивостью поворачивалась перед глазами, демонстрируя самые выигрышные уголки. Стин подхватил тляку и неторопливо зашагал. И вся нехитрая — или бесконечно сложная механика жизни — противостояние земли и неба, солнце и ветер, шорох трав и очертания гор — вновь обступила маленького, чувственного, доверчивого человечка, опьяняя и убаюкивая его своей яростной и равнодушной лаской.

3

Солнце начало опускаться. Ровное настойчивое тепло разбавилось сыростью из нижней долины, краски подернулись патиной, на дальних вершинах заплясали острые и мелкие розоватые отблески.



Вспомнив, что в горах быстро смеркается, Енсен решил наконец достать свои записи. Еще не прикоснувшись к дорожной сумке, он с легким мысленным отвращением увидел белую тетрадь, сохраняющую все его любимые наброски. Копия этой тетради лежала в кабинете Енсена, терпеливо дожидаясь его смерти и коллег, которым — Енсен это знал — ее содержимое все равно окажется не по зубам.

Енсен присел на корточки и зашарил в сумке. Дверь в хижину он оставил открытой, но света проходило немного; впрочем, он легко узнавал вещи на ощупь. Собственное усердие казалось ему неостроумной издевкой над той глубокой послеполуденной тишиной, которая устанавливается сначала наверху, в мироздании, потом проливается в их долину и, наконец, неторопливо входит в каждого. Но, почувствовав скользкий корешок, Енсен все же потянул за него.

От тетради оглушающе пахло черным кофе. Енсен забыл этот запах и теперь принохивался с большим интересом. Вслед за запахом пришли полузабытые шумы — слегка приглушенные шумы города, такие, которые долетают на сотый этаж или на террасу кафе в небольшом парке посреди тихого фешенебельного квартала — привычные неназойливые шумы, похожие на биение сердца и на шелест крови в артериях. Енсен вспомнил резкие, настойчивые голоса европейцев, ярко накрашенные лица женщин; каждое из них — вызов, удар, декларация; кричащие лица, предъявляющие категорические права на самого случайного собеседника... На мгновение он почувствовал себя посреди людной улицы. Он торопливо отложил тетрадь и вытер пальцы.

Справившись с собой, Енсен вышел наружу и сел, прислонившись к стене. Очертания букв, цифр, сложные извилистые линии были знакомы до абсурда — его рука помнила эти закорючки, он мог бы заново почувствовать форму ручки, которой выводил каждую из них; но он не видел в них смысла. Под его взглядом знаки бледнели, а пространство вокруг них темнело и наливалось жизнью. Вместо листа бумаги перед Густавом Енсеном разворачивалась глянцевая чернота, а в ней завис привычный, заученный наизусть перламутрово-голубой шар. Неровная, прикрытая рыхлыми облаками поверхность медленно приближалась к глазам и на ней все сильнее проступало нервное, истощающее движение. Еле заметная мошкара тянула ниточки дорог и яростно шныряла по ним; набивалась в гигантские муравейники; вгрызалась в горы; скусывала заросли лесов и заменяла их унылыми короткошерстными квадратиками; и дымила; и проливали нефть; и мусорила; и то тут, то там с немыслимой скоростью выращивала крошечные цветы пламени; и убивала всех и вся и в том числе — друг друга.

На фоне этого движения внезапно замерцали формулы, формулы, формулы... Мелкие раскоряченные жучки, навсегда пришипленные к бумаге, зато дерзкие и опасные до святотатства. Они перетекали, не шевелясь, как надписи на электронном табло, но это они размещивали жидкую овсянку земли огромной поварешкой действия... Степенно проплывали формулы Пифагора и Архимеда, Ньютона, Лейбница, Максвелла, Эйнштейна... Появились формулы Енсена... На миг движение на лице Земли замерло, а потом закрутилось с удесятеренной яростью. Муравейники полезли вверх, пока не переросли высочайшие горы; квадратики полей сменились многоярусными зеркалами бассейнов; моря и океаны покрылись шеренгами плавучих островов; поезда, корабли, самолеты распухли в пузатых транспортных гулливеров и часть из них радостно ринулась к звездам. Все лицо земли покрылось кишашей многослойной коростой.

— Но я же не хочу этого! — подумал Енсен.

Он все еще сидел в дверном проеме, окруженный сумерками. Было светло, но самые мелкие значки уже не читались, а в небе, как забытая тайнопись, проступали звезды. Енсен еще раз заглянул в тетрадь и опустил ее. Он вспомнил радость каждой находки, медленно и сладко выраставшее чувство целого, когда вдруг становится ясно, где и какое усилие нужно сделать, чтобы долгие разрозненные догадки сомкнулись в непроницаемое, единственное логическое построение. Вспомнил споры с коллегами — краткие, шутливые — легкомысленный танец пчел, чьи брюшки лоснятся от тяжелого коричневого меда... Он вспомнил ночное одиночество над листом бумаги, когда весь распахнувшийся за окном мир ждет от тебя единственного оплодотворяющего откровения и, дождавшись, становится на мгновение простым и покорным... Вспомнил красоту — скорее, наоборот, чарующую некрасивость — своего профессионального языка, с его угловатой точностью и определяемостью любого понятия; свое пресловутое

всемогущество — чистое и чудаковатое, несмотря на демоническую мощь... Ему стало грустно. Эта часть его жизни кончилась слишком быстро.

Енсен отложил тетрадь и машинально сунул в рот какой-то сочный травяной огрызок, который, оказывается, давно вертел в пальцах. У огрызка был странный вкус — вкус пряной зелени, не то возбуждающий, не то успокаивающий смутные и бесполезные сожаления. Енсен неторопливо входил в совершенно бессмысленное занятие, поглаживая языком жесткую ворсистую кожуцу, сжимая и разжимая челюсти, осторожно посасывая горьковатую слону. Язык начал неметь. Стин почувствовал на плече маленькую твердую руку Ауша. В красновато-бронзовой фигурке было столько машинального, забытого царственного достоинства, что Стину стало больно. Пальцы Ауша осторожно развели губы Енсена.

— Рано. — Сказал Ауш забирая огрызок. — Яд.

Рука Ауша слабо трепыхнулась, словно собираясь выбросить злополучный кусок, но, застыв на полпути, понесла его ко рту.

— Помнить... забыть... жить... — тихо сказал Ауш, как бы пробуя на вкус эти слова, — Зачем?.. Жить, жить....

Он бормотал почти про себя, но в тишине каждый звук был слышен всему обступившему их миру. В небе, еле прикрывшись блестящими облаками, их подслушивало раскрытое настороженное пространство; горы, выгнув спины, припали к земле, чтобы не пропустить ни слова; травы и листья затихли еще больше и покрылись испариной ожидания...

Енсен непроизвольно ухватился за косяк.

— Ты боишься за меня? Я могу отравиться и умереть? — быстро спросил Енсен, чтобы хоть что-то сказать.

— Умереть? — пробормотал Ауш — Чему — “умереть”? Умереть — нечему...

Ауш прислонился к стене и покачал с головой. Его лицо отражало закат, челюсти медленно двигались, веки виновато и блаженно опустились. На нем были потемневшие от пыли шорты и тонкая курточка с капюшоном. Несмотря на царственную осанку, он казался щемяще маленьким здесь, на фоне гор — миниатюрная красно-коричневая фигурка, похожая на сверчка или богомола.

4

Стин бродил по базару, бродил в бело-желто-коричневой плоской и неподвижной толпе, в которой нарисованные продавцы живописными жестами предлагали нарисованным покупателям соты и кувшины с темным, пахучим как смола медом. Стин старался брести медленно, чтобы не очень выделяться среди плоских треугольных силуэтов продавцов и покупателей, но на самом деле он спешил. За базаром открывались ряды безликих стен и колонн, а за ними, далеко, должна была быть вода, потому что воздух в этом рисованном городе был настоящим и пах старым прогорклым медом и водорослями. Стин как будто бы не спешил, но на самом деле он торопился и что-то непонятное подгоняло его, непонятное до тех пор, пока он не почувствовал сквозь толпу одного расплывчатого и вездесущего человека. И от этого чувства нарисованная толпа сжалась и загустела, стала вязкой и теплой, как свернувшаяся кровь. Теперь Стин шел медленно для того, чтобы этот невидимый человек не выделил его из толпы и не догадался, что Стин — это Стин. Этот человек не имел ни лица, ни формы, но в нем сплавлялось все злое и порочное, что может быть в человеке, а на выбеленном льняном поясе в кожаных ножнах он носил стилет, направленный прямо в грудь Стина. Стин усомнился было в стилете, вещи, по его понятиям не древнеегипетской, но тут же увидел сам стилет — хорошенький как игрушка, с золотой рукояткой и красивым красноватым зрачком, обрамленным оттиснутым в золоте глазом... И это видение сразу же материализовалось, сжалось и напряглось как связь. Стин понял, что он узан. Он начал убежать по людным улицам, но получалось страшно медленно, потому что человек со стилетом был липким и присасывался к его сердцу как пиявка.

Стин знал, что его преследователь не может ударить и убить, но он может прикинуть, прорезать дырочку и перелиться вовнутрь Стина, и это было куда хуже и страшней, чем простой удар лезвия, освобождающий радостно хлещущую кровь, и Стин изо всех сил убежал от их связи, которая, резиново напрягаясь, тянула его обратно.



И они бежали по бронзово-белым, упругим от толпы улицам. Стин увидел синее — это был Нил — народа там было меньше, и уже готовилась отплыть неуклюжая позолоченная барка под разрисованным парусом. Стин услышал голоса плакальщиц, понял, что эта погребальная барка ждет его, и прыгнул, разрывая связь с хорошеньким красноглазым жалом и радуясь, что успел.

Воздух дрожал от плача, в золотом ящике на корме лежало забинтованное, залитое благовониями тело, плакальщицы кричали как чайки в Швеции, но, кажется, не было никаких плакальщиц, нет, они были, они заламывали руки и золотились против солнца как смуглое теплое дерево, они оплакивали воскресенье Осириса, эта фантазия запомнилась Стину навсегда, да они оплакивали именно воскресение, хотя кто-то запеленатый лежал в золотом ящике на корме. А Стин стоял рядом, воскресший и ставший богом, и поправить это было уже невозможно. По бокам барки перелистывался Египет, маленький кукольный Египет из папирусов и росписей в гробницах, а красное солнце караулило барку впереди, выпивая подстеленную под нее золотисто-багряную дорожку и сзади, за кормой барки, флегматично всплывали гладкие тупорылые крокодилы.

Стин опустил ноги на земляной пол и, почувствовав холод, проснулся. Он торопливо лег. Было тихо; тихо как всегда. Внутри хижины свернулась клубком плотная тяжелая темнота. Пластиковое окошко светилось каким-то самостоятельным светом, подсказывая, что снаружи взошла луна. Енсен не хотел спать, возбужденный долгим, чересчур складным сном, но будить соседа было неловко. Он замычал как бы сквозь дрему и тихо, нарочито невнятно позвал “Пуру!” У другой стенки не отозвались; только шуршание спального подстилки подсказало Енсену, что Пуру садится. Приподнявшись, Енсен открыл глаза и увидел напротив другие — трезвые, голубовато-блестящие, почти невидимые на еще более невидимом, размытом темнотой лице.

— Сон? — спросил Пуру.

— Сон про смерть и... воскресение. — “Воскресение” Енсен сказал по-латыни; в странном суржике, на котором они перебрасывались редкими отрывистыми фразами, такое слово не встречалось, но Енсен почему-то знал, что Пуру его поймет.

— Страшный?

— Страшный.

В абсолютной темноте Енсен увидел, что Пуру улыбается. Слабая улыбка обещала надежду на тепло, на сообщничество, на чувство общей вины — явственной вины, хотя и непонятно за что.

— Сон — пробормотал Пуру. В его голосе звенела трезвая легкость бессонной ночи. Рука, узкая и сухая как ветка, прикоснулась к руке Стина.

— Сон... У меня тоже есть свой сон. Смотри... Слушай!

Енсен хотел удивиться, но снова очутился в темноте — полной, окончательной, хотя он не поручился бы, что вокруг него действительно темно, и что на дворе ночь, а не день. Темнота была не голубоватой, ночной, а вязкой, горячей, темно-багровой, она пульсировала и сжималась вокруг распростертого тела. Лежащий в темноте человек ни о чем не думал. Полуоткрытым ртом он старательно втягивал и выпускал воздух — отрешенно, сосредоточенно, изо всех сил, и воздух неизменно оказывался твердым и горячим.

Снаружи, за тонкой стеной, возле которой лежал умирающий, послышался звук — шепот, шелестенье, царапанье — и человек попытался поймать и рассмотреть его, чтобы забыть про тяжесть неподатливого воздуха. Он с усилием приблизился к голосам, и голоса стали громче, хотя лежащий по-прежнему не понимал ни слова, может быть, в его сознании уже не было слов, может быть, он не понял бы слов, даже если бы эти же слова повторяли ему в самое ухо. Выныривая из раскаленного воздуха, он ловил в звуках что-то знакомое, связывающее его с чужой, еще не до конца потерянной жизнью.

Голос... Этот голос мог бы на мгновение остудить даже его погребальный костер. Он пах росой и сумерками, в нем была ночь, и ожидание, и трепет, проникающий в каждую жилку и дальше, во вселенную, пока человеческое тело не сливалось со вселенной и не начинало пульсировать в ее властном ритме, и взрыв, и пробел во времени, и потом тот же певучий голос возвещал, что все окончилось хорошо, мир не рухнул и вернувшаяся земля несет и покачивает их вспотевшие тела. Голос женщины, которую он раз за разом искал в наступающих сумерках,



а когда засыпал, его тело продолжало искать ее тело, а душа, освободившись, уходила за ее тенью в сады, где степенно танцевали белесые, отливающие луной птицы...

Этот голос мог если не воскресить, то отсрочить, вытащить из жара, из забытья, связать хоть на мгновение с ускользающим, вытекающим из тела мирозданием. Вслушиваясь, лежавший начал понимать, что в голосе звучит просьба — не настойчивая, а равнодушная, машинальная, что женщина уговаривает, давно устав уговаривать, даже не особенно желая уговорить... Кого? Большой настолько выскользнул из забытья, что легко, без чувств и мыслей узнал голос своего брата. Он был настойчивей, жестче, и в нем бился жар — совсем не тот, который сжигал умирающего. Мужской голос пульсировал, понижался до шепота и повышался до еле сдержанного крика, а женщина отвечала все глуше и реже, и, наконец, вместо женщины отвечал только шорох травы, и скрип песка, и шелест, и свист ткани под стремительными пальцами. Потом и мужской голос стал стихать, но возник ритм — вкрадчивый, неторопливый, узнаваемый. Единственный ритм, который невозможно не узнать, ритм, в котором бьется сердце и пульсируют галактики. Женщина уже не отвечала, как прежде никогда не отвечала тому, кто лежал за стенкой, почти насмерть придавленный вязкой и тяжелой тьмой. Он все еще ничего не понимал, но...

Не понимал, но ритм проникал в его кости, набивался в рот, душил и разрывал внутренности, и это было так страшно, что еле дышавший человек начал яростно извиваться, цепляясь за землю, выворачиваясь на ощупь, как червяк, в поисках чистого воздуха, не зараженного шорохом и биением, в поисках земли, не издающей этот вязкий и противный скрип, в поисках выхода, выхода, выхода...

Даже сейчас, почти целиком уйдя в смерть, человек знал, что жена и брат любили его и недолго любили друг друга. Взять его жену, стать отцом его не родившегося ребенка — для младшего брата было простым долгом, и брат выполнял долг, и жена выполняла долг, не видя смысла в отсрочках, может быть, вспоминая его, умирающего, почти умершего, умершего; это было не страстью, а простой констатацией факта и было страшно, так страшно, что человек не то полз, не то перекатывался по узкой, колючей от камней тропе, в ярости, в ужасе, ничего не зная о далеком селении и бессмертных чудаках, выращивающих колдовскую траву, но учуяв некую разницу, некое искривление в жарком, твердом, охваченном смертью мире, и это искривление уже захватило его, уже не давало свалиться в ожидающую, раскрытую перед ним темноту...

— И далеко ты полз? — с детским любопытством спросил Стин.

Пуру виновато рассмеялся. По этому смеху Стин понял, что далеко; невероятно далеко; далеко даже для здорового, для знающего дорогу... Для него, Стин преодолевшего полмира, влекомого смутными слухами и тем же страхом, тем же еле слышным запахом чуда и безумной жажды дезертирства.

5

Было утро. Легкое, незатейливое. Енсен едва не рассмеялся, разглядывая собравшихся к костру учеников. Они напоминали тюленье лежбище, если можно представить себе грязных оборванных тюленей. Все фигуры казались понятными — толстый потливый Джо в педерастически яркой тенниске, вечный крестьянин Пуру, маленький сухой Ауш с нечаянной осанкой короля, Джок, как бы весь состоящий из бегающих глаз и пальцев с неровно обкусанными ногтями. И, разумеется, Стин был не опрятнее любого из них. Учитель в чистой и целой одежде казался щеголем. Он положил возле себя старинное, едва ли не первое издание “*Critik der Urtheilskraft*” и время от времени проводил рукой по очередной странице, задумывался, разглядывая пологие хребты, иногда повторял жест, но чаще переворачивал лист и проводил пальцами по следующему. Енсен в который раз удивился. Несмотря на привычку Учителя собирать инкунабулы на любых языках и читать их кончиками пальцев, несмотря на то, что Джок подолгу слушал старый поломанный приемник, а Джо и Ауш каждый день вдвоем рассматривали маленький школьный глобус так же, как средний горожанин прочитывает газету, в них не было ничего загадочного. Зато квадратик картинки — хижины, зелень, струйка дыма и прозрачный воздух — был другим. Значимым, хотя приписать ему определенное выражение или, того хуже, мораль оказалось бы непростительной глупостью. Но другим, необъяснимо другим. Стин не хотел задумываться.



Расслабившись, прислушиваясь к приятной тяжести бобовой похлебки в желудке, он перевел взгляд выше, на призывно нависающие горы. Глаза зацепились за один из грозных, неестественно близких пиков и пик приблизился вплотную. Молчаливый, резко и неправильно оговоренный сырыми синими тенями, он наклонялся к лицу Стин, удерживал взгляд... В это мгновение Енсен ощутил, понял... Но понял непонятно что. Забытый ученый бунтовал, заставляя проверить, и Стин вцепился взглядом в наплывающие чудовищные плоскости, очерченные то полутонами, то резкими углами и темно-синими развалами трещин... Сейчас, сейчас, азарт, эксперимент, дрожь в пальцах, уцепиться взглядом между двумя трещинами, дернуть на себя, не взглядом, а чем-то... Тождеством. Тождеством между собой и этой сонной нахмуренной громадиной. Енсен слегка дрожал, шею щекотала капля пота... Линии на картинке изменились: стали мягкими, округлыми, неуловимо перетекающими одна в другую... Выбранный Стинем участок ледника медленно вспух снежной гусеницей – пушистой, серовато-белой, но ослепительной на солнце, осторожно вырастающей вниз по склону... Енсен отвел глаза. Произошедшее было абсурдом. Этот склон отсюда почти не виден. То есть как раз виден превосходно, невероятно отчетливо, но мелко, далеко. На таком расстоянии невозможно рассмотреть сошедшую лавину. И уж тем более невозможно заметить, что внизу, возле очередной трещины, гусеница наползла на крохотное оранжевое пятнышко. Стин поднял глаза еще выше, в недоверчивое темно-голубое небо. Невозможно. Невозмож-но. Невозможно, но... Но. Со Стинем осталась мысль, чувство, фраза; в голове вертелось: “Проклятье, что это? О Бо...” На языке, которого он почти не знал, которого не вспоминал уже много лет, хотя это, возможно, ничего не доказывает. Не доказывает, если нужны доказательства... Что-то внутри — чужое, ледяное — медленно сжимается, сгущается, становится твердым и прямоугольным — “О Боже... Сюзанна, дети, окулист, значит, всего этого уже не нужно, даже счета за гараж... Глупо, счета, снег... Счета...” И еще очень много холода, холода и равнодушия, и небо, хотя никакое небо, конечно же, не видно из-под толщи снега и льда, раздавившей оранжевый тент. Медленно темнеющее небо — строгое, бесплотное — с медленно проступающими звездами... Енсен воровато взглянул на сидящих у костерка. “Доказательства не нужны, — твердил неслышимый голос, — Доказательства не нужны, ты и так знаешь что там: ничего страшного... Для тебя — ничего страшного; и горы будут так же стоять, и редкие перистые облака будут так же просвечивать и золотиться над их вершинами.” Енсена трясло. Вытянув перед собой руку, он убедился, что его трясет крупно, неподдельно... И это тоже ничего не доказывало... Но кому? Кому стоило доказывать? Над ним нависало темное, голубое, грозное... И безразличное, еще более безразличное, чем сам Стин. Совсем запрокинув голову, Енсен вдруг почувствовал, что улыбается. “Наверное, только боги так сильно хотят жить. Еще больше, чем смертные люди. Только боги могут вполне почувствовать, какое это благо, какой соблазн — жить!” Медленно разминая ноги, он встал; хотелось засмеяться, потянуться на цыпочках, развести руки и обнять развернутый перед ним склон. Он хотел жить! Так сильно, так стыдно, как будто только что отдал опустевшему миру не чью-то чужую жизнь, а свою собственную. Но ведь это невозможно! Он снова поглядел на костер. Ауш ушел; Пуру, почти неразличимый в тени, дремал; отчетливо виднелась только вытянутые на солнце ноги; Джо и Джок лениво играли в камешки, и речные окатыши кружились между ними в воздухе, выписывая то “штопор”, то “бочку”, то “мертвую петлю”. Учитель отложил книгу и смотрел на тот же склон. Он шурился и вертел в пальцах сухую соломинку.

6

Енсен решил. Сидя на камне, он выжидал, пока Учитель кончит рыхлить и отложит маленькие грабельки. Кучерявые кустики стояли в стую — крепкие, ухоженные — и разглядывали Енсена. Между листьев блестели темные с сизой поволокой глаза. Учитель не оборачивался, и Енсен, пытаясь собраться с мыслями, был ему за это благодарен. Он знал, что начнет разговор, поэтому каждый миг отсрочки казался благом, бесценным даром, пока воздух еще дразнит легким запахом меда и почти несуществующий ветерок щекотно бросает вдоль щеки отросшие волосы. Енсен загляделся на растопыренную на камне ящерицу, царственным взором озирающую окрестности. Она облизывалась неуловимо частыми движеньями. Время растеклось и замерло, теплое, щедрое, неподвижное, близкое к совершенству. Время ящерицы. Стин вбирал солнечное тепло ее спинкой, грел брюшко на разогретом камне и пробовал воздух ее тонким



раздвоенным язычком. Между дремотой и чуткой охотничьей настороженностью проплывали ее мысли — маленькие, непонятные, сверкающие как солнечные пятна в листве... Потом пауза кончилась: Учитель выпрямился, положил грабли и прислонился к стволу дикой груши. Нижние ветки окружали его лицо белым пушистым ореолом. Ожидая, он смотрел слегка в сторону, как бы оставляя собеседнику возможность передумать и уйти. И Енсен осторожно встал на ноги, чувствуя, что вся гора прирастает к подошвам его сандалий.

Он мог бы промолчать. Мог задать вопрос и получить ответ, оставшись внутри молчания. Учитель умел отвечать, не нарушая гармонии между мыслью и тишиной, поглощающей и убивающей любую мысль. Тишина, гармония... Енсен, несмотря ни на что, внутренне расхотался. Это Стин гармоничен, а Енсен сыт по горло гармонией; он мечтает убить ее, задушить, чувствуя сладострастно подрагивающими пальцами каждую стотысячную децибела. Он готов задавать вопросы, даже зная ответы, даже внутренне хихикая от их нелепости...

Холодея от того, как необратимо изменяется мир, он начал с самого нелепого — Кто я? — и огляделся, удивляясь, что не слышит извне гремящего в его собственном мозгу оползня.

— Ты? — Учитель пожал плечами и тихо рассмеялся. — Каждая вещь может иметь тысячу имен и ни одно из них не равно самой вещи. Так не все ли равно, как ее называть? Ты — Стин, я — Учитель...

— Мы... боги? — тихо спросил Стин.

— Боги? — Переспросил Учитель. Гладкое блестящее лицо смотрело мимо Енсена на долину. Оно выглядело виноватым. — Я не знаю богов.

Я думал — что такое боги?

Если бог тот, кто творит, делает что-то новое и невиданное, тогда ты был богом.

Учитель заглянул в глаза Енсену и отвернулся. Тот еле успел заметить улыбку, узкую и верткую как улизнувшая ящерица. — Я не знаю, кем ты был, когда пришел сюда, но ты был богом.

— Богом? — Тупо переспросил Енсен.

— Мы все были богами. Я хранил сокровища мудрецов, Ауш побеждал царей, Джо открывал для своего народа новые земли, Джок был невероятным ловкачом, — он мог бы спрятаться в дырочке флейты и украсть пятна с луны... У Пуру была женщина, беременная женщина!

Мы были богами!

Настоящие боги умирают. Боги говорят с людьми и уходят от людей, чтобы показать им дорогу. Будда... Мухаммед... Иисус... Раньше были боги, умиравшие каждый год, чтобы тем, под землей, не было одиноко, чтобы живые не боялись сойти туда...

— Я, кажется, убил человека, — перебил его Енсен непослушным голосом.

Учитель снова виновато пожал плечами. — Ты сотворил чудо — и испугался. Не бойся, это не сделало тебя богом. Чудеса творят фокусники, а не боги. Если ты сольешься с деревом, станешь деревом, ты сможешь расцвести среди зимы. Но ты не захочешь цвести зимой — это больно, вредно. Ты заставишь своего врага умереть от боли и ужаса — но ты тоже умрешь в нем. Человек или зверь может вмешиваться в жизнь равнодушно, как бог. Но бог... Он умирает с убитым, и радуется с убийцей, и скорбит с детьми убитого. И сорванная травинка болит как отрубленный палец... Бог бессилен... Он настолько все, что становится ничем.

— Я — ничто? — Енсен недоверчиво поглядел в темно-карие глаза, ставшие почти прозрачными.

— Нет. Еще нет, ты только становишься... Много, много лет... — Енсен не заметил, когда рука Учителя прикоснулась ко рту, но его челюсти медленно заходили, веки вяло и блаженно опустились. — Ничто... все... что-то... Слова, которые невозможно понять... Они как жизнь и смерть... Они уже не нужны тебе... Ты живешь — и все.

— Все?!

— Все. — Виновато рассмеялся Учитель.

— Но зачем же тогда жить?!

Учитель промолчал. Но вдруг его лицо перерезала улыбка — беспомощная и неуправляемая. “Ты не знаешь, зачем? Ты знаешь, зачем и почему ты так хочешь жить!”



И Енсен на мгновение потерял себя. Он стоял на коленях, глядя на скользко выбритую голову с отрубленным ухом. Голова, норовистая как свежеепойманная рыба, выворачивалась из рук; кровь делал ее невероятно скользкой и тяжелой... Он привык понимать каждое движение этих бровей, каждый взгляд небольших, несокрушимо терпеливых глаз, но теперь глаза были остекленевшими — и только. В мокром разглаженном лице не читалось никакой подсказки, никакого намека на то, что делать дальше.

Он поднял взгляд и растерялся еще больше. Все было слишком красиво. Резные деревянные колонны истекали прозрачным огнем. Над прогоревшей крышей взлетали черные, меченные искрами клочья, возносились в горячих потоках воздуха, и, выгорев добела, спускались на траву... За жидкой завесой огня горели хроники, сказания о богах и героях, размышления святых, таинственные алхимические рецепты... Броситься спасти их было не только опасно, но и уже бесполезно. Пахло смолой, но все забивал другой запах — запах крови и кала из разрезанных внутренностей. И еще было тихо. Небо и земля смыкались вокруг разгромленного монастыря глухими осторожными ладонями, отсекая все звуки, кроме неслышного шелестения огня и ветра. Было так тихо, что одинокий человек мог себе позволить заплакать или истерически захохотать, но не сделал ни того, ни другого. Он только подумал, что не донесет голову Наставника, да и некуда ее нести в горящей, растерзанной раздорами стране; осторожно положил ее в траву лицом вверх, встал, огляделся. Он был самым младшим, всего-навсего служкой, не очень знал, в чем главное сокровище монастыря, не представлял себе, где его искать после буйного торопливого погрома. И еще он спешил.

Потом он не раз думал: небрежно вспоротый мешочек сам о себе позаботился, незримо окликнув его, слепо ищущего в красном вонючем тумане признаки чуда... Но, возможно, виноват случай — спешка, ужас, точное ощущение, что пора хватать, что видишь — и убежать. Вышитый кошелек показался знакомым: кажется, такой же висел на поясе настоятеля при торжественных выходах; внутри пусто, только несколько стеблей сухой травы с твердыми звенящими ягодками... Служка поднял кошелек, снова огляделся, побежал. В побуревшей траве не лежало ни одного живого, пламя, трудолюбиво гудя, доедало монастырскую библиотеку, а тело в панике чужло биение земли под копытами возвращавшихся коней. При первом знакомстве с Корнем он, как и все, испугался. Испугался смерти.

В последующих странствиях — нищий среди нищих, беженец среди беженцев — бывший послушник и не пытался найти кого-то сведущего. Мешочек был памятью о месте и времени, в которых ему было хорошо. Только потом, в другой стране, в глухой горной деревне он отдохнул и отъелся настолько, чтобы задуматься... Он старался стать местным — женихом, отцом, раствориться в изрядно обезлюдевшей после смут деревушке, медленно и ласково впитывавшей в себя человека, чтобы лет через 30-40 выплюнуть маленький смуглый труп с набрякшими жилами. Но что-то мешало. Долетавший с гор ветер был шепотом древнего, напоминающего, а по ночам показывалась безобразно огромная луна, еще больше распухавшая под его взглядом. И ветер, и луна, и молчаливо наблюдавшее за ним небо чего-то ждали, требовали... Чего? Он честно не понимал, что отделяет его от случайных бесед с односельцами, домашней бражки и грязноватых полногрудых кокеток на выданье. Пригретый на груди кошелек висел тихо и мешала, стало быть, не размятая в труху трава, а собственная душа, затосковавшая в узком и неудобном убежище. Напуганный прошлым странник готов был на многое, чтобы задобрить ее, не нарушая статус кво, не сходя с места. И придумал... Измученный беспокойством крестьянин сделал то, что не приходило в голову поколениям мудрецов, торжественно хранившим реликвию — посеял семена в землю и стал наблюдать, ожидая всходов...

Учитель все еще улыбался — случайный человек, никак не больше Енсена имевший право на жизнь, на бесконечный запас времени чтобы приобрести мудрость и мужество... Та же виноватая неудержимая улыбка. И еще треск, грохот. Неслышимый грохот долгожданной, наконец-то разразившейся катастрофы.

Облака розовели, когда Енсен остановился на краю обрыва, лицом на северо-запад. Его тянуло заглянуть дальше, за огромную панораму ущелья, гор, спрятанной далеко на дне ущелья



реки... Привстав на цыпочки, он мог бы увидеть Осло; по крайней мере ему так казалось. Зато шум... Шум не казался, а долетал к нему в горы. Даже не шум, а другое — сильные неслышимые волны, в которых билась и ложь, и истерика, и смерть, и слепое безрассудное желание... Но эта ложь, эта смерть дышали таким огнем и страстью, что настоящая жизнь здесь, в горах, казалась бледной и невзрачной. Там были люди подобные Енсену — прежнему. Слепые люди, шагавшие сквозь простор и время, не замечая их, не видя их чудес; играющие своей и чужой жизнью, даже не подозревая, какое чудо, какой восторг — жить; покорявшие и разрушавшие миры ради горсточки золота, ради мига удовлетворенного тщеславия; возводившие новые миры, взамен разрушенных, ради того же золота и тщеславия... Одержимые дети. Жестокие, невежественные, немудрящие; “простые духом”; воистину простые духом. Они войдут в Царствие Божье, не заметив ни Врат, ни Привратника, ни самого Бога. Выстроят в Эдеме привычный ад для привычных нужд, даже не заметив, что раньше, без них, это место было Эдемом. Умеющие делать, не решив, решать, не зная, познавать, не понимая... Свои. Родные. Навсегда потерянные Стином. Из-за гор и долин доносилось глухое и смрадное дыхание их мира. Запах действия — самого страшного из наркотиков.

Енсен поспешно опустил глаза, рассматривая полоску земли между босыми ногами и обрывом. Бархатную пустоту, тлен, в котором блстели частицы кварца, и сероватые комки водорослей, и белые нити грибов, копошились прозрачные твари — нитевидные, бесформенные, причудливо скрученные — и другие, темные, блестящие, многоногие... Он почувствовал, как они ощупывают черноту, движутся в ней, задумчиво грызут друг друга... Почти ничто: комочки земли, трава, небо... И медленный ритм роста, постижения, убийства, спрятанный повсюду, в каждой частице земли... И большая жизнь за горами пульсировала так же, но яростней, пахла гарью, железом, наплывавшие радиоволны на всех языках муссировали убийство какого-то президента, крушение поезда, переворот в Африке, роман сомнительной кинодивы с фотографом, — забытую, оставленную в прошлой жизни муру, когда-то от души презираемую, но сейчас они манили, оглушали, сводили с ума... Безмятежно обступившее Енсена пространство свернулось в воронку — узкую, засасывающую, закрученную маленьким прозрачным смерчем с медленно проступающими звездами. А в центре вихря жили и ждали глаза — равнодушные, странно пытливые... Мир остановился. Где-то далеко, на другом краю земли ветер продолжал шелестеть листьями надутой как парус белой груши, но звук почти не долетал до окутанного взглядом Стина. Прошло много времени, или, может быть, время перестало существовать... Потом глаза медленно, почти незаметно улыбнулись. Енсен взмахнул руками, цепляясь за воздух, и тут же шагнул вперед, шагнул, шагнул... Крутой склон горы вдруг развернулся далеко внизу, как земля с самолета; а потом, так же далеко внизу, мелькнуло вогнутое, приподнятое к горизонту небо...

Тело Енсена, кувыркаясь и цепляясь за камни, ударились о землю прямо перед крестьянином и осликом, неторопливо бредущими вверх по горной дороге. Ударилось, подскочило и, прокатившись через тропинку, окончательно исчезло в глубине ущелья...

Стин проводил его равнодушным благожелательным взглядом.

ПЯТЬ НОЧНЫХ РАССКАЗОВ О ЛЮБВИ, ЗАПИСАННЫХ НЕКИМ МОНАХОМ

Аз, многогрешный, с детства одержим виденьями бесовской прелести. Сызмальства другие ребята играют, а я забьюсь в угол и сижу там — то заплачу, то засмеюсь, а то сижу молча, глаза открытые и никого не вижу. Матушка уж и ругала, и била... А в это время предо мной множество бесов действия устраивают. То страх какой покажут, а то красоту — до слез, до восторга... Я и смотрю на нее, а людей не вижу. Или иду куда, а бесы на воздушных крыльях обступят меня и поют, и кажется, что душа моя делается огромной и Мир Божий не вместит ее всю — даже в груди больно. А тут матушка увидит... Потом священник наш объяснил, что это — грех большой и бесовское наваждение. Тоже ругал. Нрава я, впрочем, был смиренного, хоть и дикого — боялся людей.

Двенадцати лет отдали меня в монастырь. Житье пошло строгое, постное... Многому научили — и читать, и писать, и словеса подбирать книжные — только видения мои оттого меньше не стали. Терпел я, каялся, и постриг принял, а видения что ни день натомят меня и



ужасом, и любострастием, и всеми прелестями мирскими. И, что ни день, страшнее они – и прекрасней... Устыдился я братии, уйти в мир надумал.

А уйти от нас легче легкого – стена старая, ветхая, пробита во многих местах. Житье за ней ждет, конечно, убогое, да много ли мне надо? Вот и ушел в воскресенье под вечер. Иду от монастыря, и словно впервые Божий Мир вижу. Пыль под ногами мягкая, теплая, звезды чуть-чуть белеют, от полей туман подымается... Грустно мне стало от великолепия Божия. Даже наваждений никаких нету, а душа стройно, как церковный хор от земли возносится, и нету слов, и хорошо... Так и шел. Небо посинело, зажглось звездами... Тогда подошел я к какой-то лачужке – маленькая и дверей нет, а внутри солома навалена. Видно в ней случайные люди вроде меня ночевали. Я помолился и заснул на соломе.

Проснулся, гляжу – луна во все дыры светит, а на пороге две фигуры стоят – белые, большие... Вскочил спросонья... А в хижину входят двое. Одеты бедно. Один, постарше, с большой белой бородой и руки большие, натруженные. А другой – молодой, стройный, и руки у него мягкие и чистые, как хороший воск.

Тихо так входят, здороваются. Я их спрашиваю – кто, откуда? Старший говорит, что рыбак. И похож на рыбака, только глаза больно строгие.

— А я – пастух. – Говорит другой.

— Инок недостойный, – отвечаю. – Бегу в мир от наваждения бесовского.

— Мир тебе, инок.

А молодой улыбнулся... Или мне почудилось?

А мир и вправду хорош. Ночь синяя, теплая, и кузнечики поют. И смех женский вдруг на дороге послышался – такой звонкий, что я уж хотел перекреститься. А там опять двое. Один прихрамывает, а другая легко идет и все время смеется. И тени бегут к нам по дороге впереди них.

Подошли. Мужчина крепкий, смуглый, одет во все черное. А женщина уже немолодая, но живая, ловкая, и глаза блестят как у девчонки. Увидела нас, прыснула и закрыла лицо передником, а из-под него глаз – черный и прямо на меня. Я по монашеской привычке постарался не заметить. – Присаживайтесь, – говорю.

— Заняли нашу хижинку, кума, – говорит мужчина, глядя во все глаза на пастуха, – придется нам сегодня у себя погостить.

А женщина уже юбки расправила и села на соломе.

— Костер разжечь, что ли? Я – здешний кузнец, а кума у меня трактир держит. Так что же, господа, от огонька не откажетесь?

— Я – пастух, а вот он – рыбак. А костер в такую ночь было бы не худо.

— Да, – протянул кузнец, глядя на соседей, – ясно. Костер сейчас будет.

Он вроде ничего и не делал, а у входа разгорелся огонь – злой, высокий. Мы пересели поближе. Рыбак, тот остался в углу за нашими спинами. Кажется нахмурился. А пастух сел рядом со мной и руки протянул к огню.

Сидим. А кузнецу, вижу, все неймется. – Что ж, говорит, так и будем сидеть молча? Что скажешь, монах?

— Сказки и всякие занятные истории были бы тут весьма кстати, но по чину иноческому не знаю я их, да и знать не могу.

— Это верно, – бурчит рыбак, – инокам нечего сказки рассказывать.

— Ну что же сосед, – говорит пастух. – Видно, тебе начинать.

— Всегда мне начинать... Ну что же, начну...

ИСТОРИЯ О НАДМЕННОМ ЕПИСКОПЕ И БЕСОВКЕ МАРИАМ, РАССКАЗАННАЯ КУЗНЕЦОМ

– Стучилось как-то, – начал кузнец, – что епископство досталось человеку еще не старому, честной и строгой жизни, но гордому и жестокосердному. Так вот, став епископом, он обрушился на все, что услаждает и радует людей, что увлекает их с пути отречения и служения небу на путь бесовской прелести и греха.

Епископ проклинал вина и сладкие кушанья, уличных плясунов и лицедеев, и наряды, и любовные песни под лютню, и охоты, которые затевают важные господа, и майские хороводы, в



которых пляшут все без разбору – почти все, придуманное человеком, казалось ему мерзким и нечестивым. Но этого ему было мало. В гордыне своей он бранил и пестрых сладкоголосых птиц, и не ведающих греха тварей, и яркие цветы, и трепещущий колдовством лунный свет, и ночную тьму, полную нечистых помыслов... Мало было Созданий Божьих, которым не досталось бы от епископа. Пуще же всего он проклинал женщин, готовых даром или за деньги подарить ласку охочим до нее мужчинам. А было это в стране, где люди пылки и грех дешев, и проповеди епископа, не искореняя греха, заставляли людей ненавидеть и стыдиться самих себя, и своих близких, и всей своей жизни.

Обжора стыдился своего обеда, а пьяница – своей жажды. Мужчина и женщина, познав сладкий грех, проклинали друг друга и расходились навеки. Дети презирали своих родителей, за то, что те их зачали, и если кто, забывшись, напевал простенькую песенку, опомнившись, он тотчас начинал молиться.

Кузнец коротко, нетерпеливо вздохнул и приложился к темной фляге.

— Епископ этот, по моему мнению, был весьма неосторожен в своем рвении, – сказал я.

— Можно ли осторожно ревновать о вере? – спросил меня сердито рыбак.

Кузнец к тому времени перевел дух и продолжал.

— Однако в тех краях жила некая ведунья и бесовка. Звали ее Мариам. Сведущие в чернокнижии шепотом рассказывали друг другу о ее красоте и могуществе. Самые же закоренелые в грехе говорили, что она и есть та богиня, которую язычники в старину называли Венус. Мариам (тут кузнец незаметно погладил плечо женщины) жила в неприступной горной долине, в замке, увитом хмелем и розами, но она любила, меняя облики, бродить по миру.

Она распоряжалась на турнирах, засыпала рядом с пастухом на охалке сена, и ловила с детьми щеглов, и заводила хороводы, когда народ хмелел от ласки весеннего солнца... Могла ли Мариам не знать о проповедях епископа?

— Могла. – Сказала женщина и, кажется, неслышно вздохнула.

Однажды, выйдя из собора, епископ увидел на ступенях старуху в лохмотьях со следами дурной болезни на лице.

Подай мне милостыню, сынок. – Тихо сказала старуха и неуверенно взялась за край епископского облачения. Епископ отдернулся как от дьявола или паука. Свита епископа окаменела от ужаса.

— Не надо пугаться старой женщины, – так же тихо и мягко продолжало страшилище. – Плоть человеческая слишком похожа, чтобы презирать следы чужих грехов и несчастий. Небесная благодать взята взаймы у Всемогущего и сосуд с нею скоро разобьется... – Старуха горестно вздохнула о бренности человеческой жизни, а епископ все еще не мог опомниться. – Твои ризы – такое же платье, как и мое безобразие. Стоит ли брезгать моим телом за то, что оно многим дарило радость, а кому-то – и жизнь? Разве не то же делала твоя мать, чтобы получился ты, такой умный и важный?

Тут только епископ откашлял гнев и обрел голос. – Уберите отсюда эту старую ведьму! – сказал он своим слугам. Однако слуги, как ни трепетали перед ним, замешкались.

— Знаешь ли ты, епископ, что приняв свой сан ты должен быть как Христос нам, бедным людям? А мы слепы, грешны и презираемы, но Господь любил нас в грехе и слабости... Святость жестока, когда она гордится собой... – При этих словах епископу, нечаянно все еще глядевшему на старуху, почудилось вдруг в ее лице другое, совсем непохожее, а в ее глазах – другие глаза. Ее голос доносился до него издали, как звук лесного ручья:

— Святость свята только если сама она не знает об этом. Огонь согревает, ибо он – огонь; вода утоляет жажду, ибо она – вода, и добро спасает, потому что оно – добро и не может быть иным... Прежде, чем считать чужие грехи, сынок, ты бы сделал для людей что-нибудь действительно хорошее... – Но епископ, опомнившись, снова видел перед собой только грязную старуху.

— В тюрьму эту ведьму! Я увидел у нее хвост и раздвоенный язык!

И старуху увели в тюрьму.

Ночью, однако, она появилась в пышной спальне епископа, возле его ложа. Приглаживая седые космы и моргая гноящимися глазами, чучело расхаживало по богато убранной комнате и говорило: – Глупые и богатые люди часто принимают свою брезгливость за праведность, но когда праведность досталась даром, она ничего не стоит. Кто совсем чист пред небом, тот обычно



холоден. – Старуха покачала головой и звонко рассмеялась. – Ты не ошибся, я – ведьма. – Она встряхнула пышными золотистыми волосами. – Но ведьма приносит людям добро, хоть вы и ославили ее злой. – Откинув волосы, она взглянула на епископа ясными как летний полдень глазами. – Я дарю людям всю радость, которая ждет их в этой жизни, а вы? А ты? Что ты им можешь дать, кроме своей злобы? Кажется – совсем тихо сказала ведьма, наклонив свое прекрасное лицо прямо к ложу епископа, – ты сам ненавидишь всех, потому что всем завидуешь. Ты живешь для долга и страдания, а если нет радости, зачем тогда жизнь?

Мариам (а это была она) вдруг прикоснулась к руке епископа. Ему показалось, что он весь обратился в лед. Он не мог даже отвести глаза от ее глаз.

— Что же, оставайся так. – Сказала Мариам.

Когда епископ поднял голову и огляделся, в спальне уже никого не было.

Епископ не заснул в эту ночь. Он пытался читать молитвы об изгнании бесов, но в каждой на середине сбивался и начинал спорить с Мариам. Он то проклинал, то смущался и просил пощады, а иногда, забывшись, слышал слова совсем неожиданные и не мог поверить, что это его язык произнес их... Утром слуги епископа не смогли отыскать его в богатом и суровом дворце.

Прошли годы. В нищенском платье бывший епископ скитался по миру. Невзгоды быстро состарили его, а в одну особенно суровую зиму он ослеп. Однажды в какой-то деревне он потихоньку зашел в хлев, чтобы согреться и услышал рядом тихое человеческое дыхание. – Это ты, госпожа? – Дрожащим голосом спросил епископ и протянутой рукой коснулся руки Мариам.

— Увы мне, – сказал епископ. – Слишком долго я искал тебя. Я столько хотел сказать, а теперь ничего не помню и мысли у меня путаются.

И епископ заплакал, а Мариам стояла рядом и вытирала его слезы, пока он не успокоился. Потом она очень полюбила епископа и держала его при себе, пока он не умер.

Так окончил свой рассказ кузнец.

Мы молчали. Огонь горел тише, иногда выстреливая искрами.

— Да. – Сказал рыбак. – Ты издавна мастер выставлять доброе как худое, а худое как доброе.

— Известно. – Ухмыльнулся кузнец. – А что-то ты, инок, на это скажешь?

— Доброта – вещь не худая, только в твоей сказке она так странно спутана с грехом, что их и не разнимешь. Если верить умным людям, что-то в твоём рассказе не так, а что – я и сказать не могу.

Кузнец снова ухмыльнулся. Хитрые черные глаза разгорелись как угли.

— Ну что же рыбак, рассказывай. Отдели теперь доброту от греха, а хорошее от дурного.

ИСТОРИЯ О БЛАГОЧЕСТИВОЙ ХРИСТИАНКЕ, ПОСРАМИВШЕЙ МАГА, РАССКАЗАННАЯ РЫБАКОМ

В первые времена христианства, – начал рассказывать рыбак, – жила одна богатая и знатная римлянка по имени Софрония, красивая и добрых нравов. Втайне эта дама приняла христианство, но об этом не знал даже ее муж.

— Однако, дама эта была скрытной, – пробормотал кузнец.

— Среди знакомых ее мужа был один чужестранец. – Продолжал рыбак. – Многие в Риме боялись его, считая магом. Говорили, что он приехал из Персии или Индии и поклоняется чужим богам. Другие говорили, что он вовсе не чтит богов. Встретив его, Софрония каждый раз чувствовала смутный испуг. Впрочем, встречала она его редко, а чужестранец ее как бы вовсе не замечал.

Однажды Софрония сидела в своей комнате за работой и вдруг увидела в дверях этого человека. Он опустился на пол у ее ног и стал целовать ее колени. От страха Софрония не могла сказать ни слова, но все же оттолкнула его.

— Простите, госпожа, – сказал чужестранец. – Я ни слова не говорил вам о своей страсти, но ведь вы и так о ней знаете. Развернутый парус покоряется ветру и подброшенный камень не может не упасть вниз. Если бы я мог, я бы никогда не встречался с вами, но я не могу, а сила моя очень велика и не вам ей противиться. То, чего я хочу не может не случиться... Даже если вы умрете, я найду вас под землей, и если я умру, я приду к вам, к живой...



Софрония вскочила на ноги и отошла в дальний угол.

— Не противьтесь мне, госпожа. Птица, которая бьется в руках умелого ловца, только напрасно теряет перья...

Чужеземец замолчал и, сидя на полу, неотрывно глядел на Софронию. Она покачала головой. — Мой муж ничем не хуже и не лучше других мужчин, но я могу любить только его. Живой ли вы ко мне придете, или мертвый, и буду ли я жива или мертва — других слов вы от меня не услышите.

Чужеземец глядел на Софронию так пристально, как будто хотел разглядеть, что у нее внутри. Она же после первого испуга уверилась в себе и говорила спокойно. Чужестранец взмахнул руками и то ли вышел, то ли исчез из комнаты. Софрония созвала служанок. Никто из них не видел в доме постороннего человека. Поразмыслив, она решила тоже молчать. Некоторое время все шло как обычно.

Потом муж Софронии по приказу императора отправился в отдаленную провинцию. Утром Софрония проводила его. Но поздно ночью он вернулся, пешком и без слуг. Не сняв широкий дорожный плащ, он обнял Софронию с такой страстью, что она, задыхаясь, в смутном испуге прошептала Имя Божье. И тут, проведя рукой по его спине, она с ужасом почувствовала торчащую рукоятку ножа.

Снова и снова призывая Господа, Софрония выскочила из комнаты. Внутри упало что-то тяжелое. Утром глава их общины вошел в эту комнату и ничего в ней не нашел, а в полдень слуги принесли Софронии тело ее мужа, убитого ударом ножа в спину. Говорили, что виноваты промышленяющие в этой местности разбойники. Софрония снова промолчала. Став вдовой, она еще ревностнее служила Господу и виделась только со своими братьями по вере.

Через год после смерти мужа Софрония услышала о новом, неизвестно откуда пришедшем проповеднике. Многие христиане с восторгом называли его новым Илией, а между тем, о нем ходили и другие слухи, смутные и омерзительные. Наконец проповедник пришел на собрание общины, в которой была и Софрония.

На вид он казался обычным аскетом, худым и оборванным, с гривой спутанных волос и горящими глазами. Но встретившись с ним взглядом, Софрония почувствовала, что ей как-то не по себе. Ее голова закружилась, а сердце больно стиснулось. Проповедник заговорил. Толпа жадно замерла и через мгновение оказалась в его власти. Его голос был похож на тягучую восточную музыку, даже в том, как он коверкал непривычные ему звуки латинского языка, было что-то непреодолимо притягательное. Помимо слов, в его голосе звучала не то нежная укоризна, не то обещание чего-то невероятно сладкого и томительного... И душа, оказавшись в его власти, не могла понять, вырывается ли она в из клетки в сине-золотое от южного солнца небо, или, как околдованная бабочка, падает в медленный, широкий и мутный поток...

Софрония почувствовала слезы на своем лице и опомнилась. Она поймала себя на том, что, как ни вслушивается в проповедь, не может понять ни слова. Но и остальные, опьяненные и обезумевшие, тоже ничего не понимали. Многие плакали, другие стонали от какого-то почти непристойного наслаждения. Их лица, искаженные экстазом, походили на звериные морды. Софронии показалось, что факелы тускнеют, а у ног проповедника клубится мрак, расплываясь как дым во все стороны. Наконец, затерянная в потной раскачивающейся толпе, она поймала на себе горящий взгляд и узнала его.

Молча она опустила на колени и вверила себя Господу. Свечи дрогнули. Руки проповедника, странно длинные, потянулись к ней. Софрония тихо молилась. И испуганные христиане увидели, что вместо проповедника у ее ног изгибается огромный змей.

Они пали на колени и с ней призвали помощь Господа и свет Его истины, чтобы развеять морок нечестивых людских страстей и заблуждений.

Так окончил свой рассказ рыбак.

— Я не помню, — сказал кузнец, — что потом стало с этой Софронией?

— Она приняла мученическую смерть при императоре Диоклетане.

Костер выстрелил.

— А ведь твоя история куда страшнее моей. После нее хочется забиться в нору и окатить себя святой водой, верно, монах?



— Когда Слово Божье пришло в мир, оно не с миром пришло, а с мечом. И с тех пор Армагедон идет незримо в наших душах, не щадя их...

— А точно ли это Армагедон? Может, вы так прибавляете себе важности? – Это сказала женщина, и я удивился, какой у нее чистый, звучный голос. – Неужели все людские страсти делятся между Богом и Дьяволом?

— Человек слеплен из глины, а Дьявол и Бог явились, чтобы оспорить эту глину. И оба они беспощадны... Если бы эти силы сами не знали страдания, их бы невозможно было простить...

Слова пастуха удивили меня: – Разве нуждается в прощении мощь неодолимая?

— А что ты думаешь, – хмыкнул кузнец, – силен – значит и прав?

— Все испытания для твердой и чистой души – благо, ибо она в них видит и исполняет свой долг.

— А ты всегда знаешь, в чем твой долг?

— Если бы Господь всегда открывал нам это, чего бы стоила жизнь человеческая?

— Да, – сказал кузнец, рассмеялся и даже зажмурился от удовольствия, – научили тебя спорить...

Пастух, все еще глядя в костер, стал рассказывать.

ИСТОРИЯ МЯТЕЖНОГО АНГЕЛА ДЕННИЦЫ, РАССКАЗАННАЯ ПАСТУХОМ

— Прекраснейшим из ангелов господних – начал рассказывать пастух, – был Денница. Он превосходил своих собратьев и красотой, и блеском ума, и силой крыльев. И еще превосходил – а может быть, только отличался от них – чувством, которого никто из них не знал, и которое называлось – тоска. Непонятная жажда делала для него пустым и бессмысленным великолепный сад Эдема. Другие ангелы казались Деннице огромными бабочками, бездумно порхающими в голубом небе. Они ликовали и славили господа, а Денница не находил в себе ни радости, ни благодарности. Равнодушие стало отверженностью, отверженность – болью и гневом. И тогда Денница взбунтовался, был побежден и проклят. Но и тяжесть проклятия не перевесила для него тяжести тоски.

Теперь ему принадлежали небо и земля. Вместо блеска и совершенства Эдема, там бушевал хаос разрушения. Свирепо и бесцельно пронизывали небо молнии, ворочались и вздыхали земные горы, морские валы упорно грызли сушу и иногда, восстав, обрушивались на нее со слепой яростью. И среди этого разрушения так же бесцельно дрожала на лице Земли, то расплзаясь, то сжимаясь, какая-то тонкая, утлая, ненадежная пленочка. И вглядевшись в нее, Денница увидел, что она сложена из множества существ – жалких, нелепых, недолговечных, но все же странно похожих на него. И Денница захотел узнать их.

Его взгляд упал на царский дворец, слишком заметный среди окружавших его хижин. А во дворце торжествовали злые и бесчестные люди, и тело хозяина остывало в одном из дальних покоев. Денница вошел в это тело. Пирующие заговорщики не заметили, что царь, оставляя кровавые следы, вполз в комнату самого верного и осмотрительного из своих слуг. Но когда они проснулись, еще тяжелые от вина и беспутства, они были уже не победителями, а побежденными. Для царя же снова началась череда человеческих наслаждений. Но были ли они ему в радость? Ведь теперь в его груди жил зоркий дух Денницы. Ничто в душах людей не укрывалось от его взора, и потому царь был проклят, проклят, как никто из живших прежде. Самые малые его радости были отравлены подлыми, мелочными страстями. Его обед приправлялся воровством повара, а одежду украшало тщеславие портного. Ревнивая злоба стерегла его сон и трусливое раболепие с серьезным, торжественным видом склонялось у его трона. Конечно, все эти люди не были совершенно плохими, и царь замечал в них самую малую искру добрых чувств, но когда он пытался ее раздуть, разгоралось пламя тех же низменных пороков. И один раз, только один-единственный раз, все было иначе.

Однажды на суд к царю пришли трое братьев. Отец их, человек весьма богатый, умер и оставил им свою землю. Перед смертью он успел сказать: “Пусть каждый из вас возьмет столько земли, сколько ему нужно...” Но сыновья не знали, как истолковать слова отца.



Царь творил суд на площади перед дворцом. Придворные окружали его, а простонародье почтительно столпилось поодаль.

Царь взглянул в лица сыновей и рассмеялся. – Ты, – сказал он старшему, – хочешь стать землепашцем, ты, – он указал на среднего, – воином, а ты – он взглянул на младшего, – музыкантом. Земля нужна только старшему.

Придворные стали хором дивиться мудрости царя, но из толпы вышел бедно одетый человек с посохом странника. – О мудрый царь, – сказал он, – ты забыл, что отец любил каждого из своих сыновей.

— Ты прав, – сказал царь. – Пусть средний возьмет столько земли, сколько надо, чтобы купить воинское снаряжение, а младший – чтобы купить хорошую флейту. – И, обратившись к страннику, царь спросил, – Знаешь ли ты, о чем я хочу тебя просить?

— Знаю, государь, – ответил, поклонившись, странник, – но я не могу этого сделать.

— Знаешь ли ты, о чем я подумал?

— Знаю, государь, но это не так.

— А знаешь ли ты, о чем я пожалел?

— Да, государь, и сам я жалею об этом же.

Между тем, придворные шепотом переговаривались, возмущенные тем, что безвестный нищий смеет так дерзко говорить с их царем. И царь, улыбнувшись, сказал: – Расскажи же этим людям, о чем мы говорили.

Бедняк, низко склонившись, ответил:

— Ты, государь хотел, чтобы я остался здесь, но я отказался, потому что боюсь возле власти и богатства растерять то небольшое хорошее, что во мне есть.

Тогда ты подумал, что я – человек мудрый, но это не так, ведь и глупейшая из земных тварей чувствует, когда ей грозит беда.

И тогда ты, государь, пожалел, что расстаешься навсегда с единственным человеком, который никогда не станет тебе завидовать. Верно ли я говорю, государь?

— Да, добрый человек, – сказал царь, – ты говоришь верно.

И действительно, он никогда больше не видел этого человека. А между тем, зависть окружала его со всех сторон и с каждым днем становилась все нестерпимее. Царь давно перестал считать покушавшихся на его жизнь. Сначала он был с ними мягок, потом – суров, потом – справедлив, но их от этого не становилось ни больше, ни меньше. То, что царь мудр, благороден и почти всемогущ, казалось всем страшным вызовом. Худшим же оскорблением для всех было то, что царь всегда беспристрастен. Денница смутно понимал, что любящие хотели его любви, а враги жаждали его ненависти, но чистая душа ангела одинаково чуждалась и того, и другого. Шло время. Царь устал читать на лицах и в душах своих подданных одно и то же. Одному из заговоров он дал созреть и осуществиться...

Пастух замолчал.

И это – все? – спросила женщина.

— Нет. Мятежный дух бессмертен. Я мог бы рассказать многое, но так и ночь кончится.

— Чудной дух. – Мне и жаль было погрузневшего пастуха, и смех разбирал. – Я, вон, монах, и то знаю, что возле полного корыта только свиньи толкутся, а хороший человек – он и бедный, и сам по себе. Да если хочешь найти их – скажись больным и убогим, к тебе людская доброта и обернется.

— Грош цена вашей доброте, если она только для убогих. Ну, давай, – кузнец взглянул на пастуха, – расскажи нам, что дальше.

— Дальше? Дальше Денница снова стал духом. Он покинул землю и странствовал между звезд... – Пастух замолчал и затеребил соломинку. – Он не скоро вернулся к земле. А когда вернулся, стал рассматривать ее куда пристальней. И снова увидел смерть. Теперь умирала женщина. Она лежала на роскошных тканях, усыпанная цветами и драгоценностями, но все это казалось бледным и невзрачным, рядом с совершенной красотой ее лица. Какие-то люди рыдали у ложа, ожидая ее последнего дыхания, чтобы окончить свою жизнь, ставшую бессмысленной. И тогда Деннице показалось, что рядом с такой красотой не может быть ни грязи, ни пороков. Сквозь теплый, благовонный, блистающий от драгоценностей воздух он скользнул в грудь женщины...



— И снова ошибся? – резко и насмешливо спросила трактирщица.

— Возвращаясь к земле, он верил, что знает о людях все худшее и готов любить их... Когда женщина ожила, мятежная душа Денница вспыхнула в ее груди как костер, а люди, как ночные бабочки, кинулись в пламя этого костра. Ее любили все – и старики, и девушки, и несмышленные дети. Но, оказывается, Денница знал о людях не все. Он был готов к их ненависти, но какой грубой, корыстной и безобразной оказалась человеческая любовь! Любя, каждый из них старался сломить и унижить гордый дух Денница, научить его своей мелочности и порокам, а когда это не удавалось, какими отвратительными были их муки! Женщина с ужасом видела, что ее красота даже лучших превращает в ничтожных, бескорыстных делает жадными, гордых и прямодушных заставляет хитрить и пресмыкаться, у разумных отбирает те немногие крупинки мудрости, которые доступны людям, и это считалось ее победой. Эта была власть, которой все завидовали!

Пастух опять замолчал, перебирая солому.

— Что же было потом? – спросил я с робостью.

— Женщина свила себе парчовую петлю и Денница снова оставил землю...

— Но он вернулся! – воскликнул рыбак.

— Да, он вернулся. – Проворчал кузнец. – Сначала он унижал людей, потом соблазнял, а потом...

— Потом, – грустно сказал пастух, – когда Денница вернулся, зная людей и любя их, он увидел, что не может им помочь. Потому что, чтобы люди стали счастливыми, они должны стать иными. А как переделывать то, что любишь?

— Любовь людей несовершенна, как и вся их природа. И что было бы с людьми, стань они такими совершенными, как вам хочется! Я вам расскажу историю любви почти совершенной. Какая это грустная история!

ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ ЖОФРУА РЮДЕЛЯ И ГРАФИНИ МЕЛИСИНДЫ, РАССКАЗАННАЯ ТРАКТИРЩИЦЕЙ

— Не так давно – начала трактирщица, – в Провансе жил один трувер, которого звали Жофруа Рюдель. Он был красивый, доброго и веселого нрава, и за это его любили и рыцари и простонародье. Дамы тоже охотно любили бы Рюделя, потому что дамы вообще охотно любят поэтов, а его песни как-то по-особенному смягчали и трогали сердце, но с ним случилось странное... Людская молва легко подхватывает и далеко разносит вести о людях необычных. И вот, вместе с молвой к Жофруа Рюделью долетело известие об одной красавице, которую он никогда не видел. Звали ее Мелисинда, графиня Триполийская. Бог весть, что он о ней услышал впервые, может быть, что-то до того малое, что любой другой мужчина забыл бы за одну минуту, но и в самом малом поступке графини жила ее прекрасная душа, и, услышав о ней однажды, Рюдель навсегда спрятал это имя в сокровищницу своего сердца. И потом, с каждой новой вестью о графине, сокровища накапливались, пока из них не сложился бесценный клад, называемый любовью. С тех пор Жофруа Рюдель думал только о графине Триполийской и каждое новое известие из далекого края было для него жизнью. Он, как положено труверу, пел о любви, но ни один человек не знал имя дамы, в которую влюблен Рюдель. Друзья хвалили песни и посмеивались над певцом, дамы шуточно и ласково укоряли его – как знать? – может быть ревнуя в глубине души. Рюдель бледнел и умолкал, когда имя графини, ничего для других не значащее, бесцельно вспыхивало в застольном разговоре. Но все его песни были о ней, и в самой лучшей из них он говорил с теплым южным ветерком, который там, в Триполи, мог коснуться края ее одежды.

Так проходила жизнь Жофруа Рюделя, пока он не состарился.

А в это время в Триполи жила графиня Мелисинда. Людская молва летит над землей легче и быстрее ветра и ничто – ни моря, ни горы, ни поля сражений – не в силах остановить ее. И так, на пестрых крыльях молвы, к графине Мелисинде прилетели песни Жофруа Рюделя и толки о его тайне, которую не разгадал ни один мудрец и ни одна женщина. И, раздумывая об этом, графиня сама не заметила, как песни Рюделя проникли в ее сердце и родили самую горячую

любовь к певцу. С тех пор она жадно запоминала все, что слышала о Рюделе, и твердила про себя его песни, и, оставшись одна, говорила с ним через разделявшее их пространство... И ни одна живая душа не догадывалась о тайне графини. Так проходила жизнь графини Мелисинды.

Спустя много-много лет, когда Жофруа Рюдель почувствовал, что он стареет, он задумался вот о чем. – Всю жизнь, – думал он, – я любил и воспевал одну женщину, но даже не знаю, не греза ли она? И были ли мои песни о ней правдой или ложью? Я доверил свое сердце чужим глазам и даже не желал того, что другие люди называли счастьем... Неужели даже теперь, когда все совершенно и ничего не поправить, я не могу хотя бы увидеть ее лицо?

И чем больше он чувствовал надвигающуюся старость, тем больше ему хотелось хотя бы раз в жизни, издали, увидеть графиню. Наконец, не в силах противиться своему желанию, он сел на корабль, плывущий в Триполи. Но от тягот ли и неудобств путешествия, или по другой причине, он заболел и прибыл в Триполи почти умирающий. Один из богатых горожан, зная о славе Рюделя, приказал перенести его в свой дом и стал за ним заботливо ухаживать. Весть об этом дошла до графини Мелисинды.

Весь день графиня не могла присесть и за что-то взяться. Она то плакала, то смеялась, то смотрелась в зеркало, и перебирала свои любимые платья, и напевала песни Жофруа Рюделя. А когда стемнело, она постаралась одеться так, чтобы ее никто не узнал, и пошла к дому горожанина, умоляя разрешить ей встречу с умирающим другом. Ее пустили. Рюдель, сквозь застилающую глаза темноту, увидел немолодую просто одетую женщину, у которой из сияющих глаз текли слезы. И он не мог не узнать ее. А когда узнал, устыдился своей худобы, и желтого от болезни лица, и морщин, и старости.

— Зачем я приехал в Триполи, графиня? Если бы вы не увидели меня, мои песни сказали бы вам больше, чем это старое некрасивое лицо.

— Всю жизнь вы говорили со мной, друг и господин мой, – ответила графиня, садясь на ложе Рюделя, – О, если бы мы встретились раньше, а не теперь, когда ваша рука в холодной руке смерти!

— Графиня, – сказал, улынувшись, умирающий Рюдель, – человеческая страсть – цветок, который расцветает вечером и вянет под утро, бабочка, которая сгорает за несколько ночей... С мыслями о вас я был счастлив всю свою жизнь, но, проживи я еще сто лет, разве я был бы счастливее, чем сейчас? Я сам не знал, что скопил сказочный клад и умру, не растратив его... О чем же вы плачете, госпожа?

— Я вас больше никогда не увижу! – Простонала графиня, обливая слезами руки Рюделя.

— Что значит “никогда”, любовь моя? – И с этими словами, сказанными лукаво и весело, Рюдель умер.

Мелисинда вглядывалась к его лицу и повторяла его последние слова, пока не поняла их смысл. А когда поняла, опустила свою голову на ложе рядом с головой Жофруа Рюделя и закрыла глаза.

Потом, когда их нашли рядом, история их любви стала всем ясной, как будто была записана в книге самыми крупными буквами. Их похоронили в одной могиле и множество труверов из Прованса до сих пор рассказывают эту повесть.

Когда замолчала трактирщица. Небо начало светлеть. Огонь горел еле-еле. На лугу плакала ночная птица и темнота вокруг наполнилась белым туманом. Я испугался, что гости мои вот-вот уйдут, а я, иннок, что я им скажу о любви? А ведь и я думал о ней, и являлась она мне в моих видениях великой и страшной. Сердце мое заколотилось и сквозь красный туман я увидел перед глазами монастырский двор – и наш, и вроде не наш, и на нем горел цветами яркий розовый куст под самую кровлю. И я стал рассказывать.

ИСТОРИЯ О НЕПОЛОЖЕННОЙ ЛЮБВИ ОДНОГО МОНАХА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО СОБРАТОМ

– И история эта – начал я, с трудом поворачивая во рту сухой неуклюжий язык – история эта наделала у нас много шума, но вы о ней, верно, и не слышали.



Кузнец тихо хмыкнул. Мое сердце снова упало, но я уже начал рассказывать, а перед глазами у меня цвел пышный куст и махал всеми своими розами.

— Этот монах, – говорил я и слушал свой голос, звучащий где-то далеко-далеко от меня, – появился у нас, когда лето было в полном цвету, хотя мы, братия, этого не чувствовали, разве что нищие приходили к нам совсем редко да грязь на кухонном дворе сменилась пылью. Он одиноко ходил по двору, усердно молился на всех службах и ни с кем не заговаривал, а мы видели в нем какое-то тайное горе и молча жалели его. И между собой злясь и возмущаясь, мы так и не дознались, кто из нас донес настоятелю, что по вечерам из его кельи слышны звуки лютни, а на столе стоит роза, которая цветет намного дольше, чем это возможно для сорванного цветка.

Вышло так, что, собираясь увещевать нашего нового брата, отец настоятель взял с собой нескольких из братии; и меня тоже. Нам это было не по душе, но нельзя сказать, что суетное любопытство вовсе не влекло нас в его келью. В ней мы увидели, что донос и о лютне, и о розе – чистая правда, но упрекнуть виновника в суетном веселии никак нельзя, потому что лицо его было печально, а в глазах стояла такая тоска, которой я еще не встречал в человеческом взгляде. Мне показалось, что увидев такое сокрушение духа, большее, чем у любого кающегося грешника, настоятель тоже пожалел заблудшего и начал свою речь мягко и спокойно. Вот эта превосходная речь – такая, какой она осталась в моей жалкой и несовершенной памяти.

Разумная речь отца настоятеля, укоряющего заблудшего монаха.

Я знаю твою историю, сын мой. Дама, в которую ты влюблен, вправду хороша собой, разумна, добродетельна и достойна любви. Но нужна ли ей твоя любовь? Когда ты жил в миру, эта любовь могла лишь запутать и испортить ее жизнь, посорить ее с достойным супругом. А теперь, когда ты за оградой монастыря, ей твоя мирская любовь и вовсе ни к чему. Или она так божественно-прекрасна, так исполнена совершенства, что заслуживает любви и поклонения как божество? Может быть отсюда, из этой кельи, тебе так и кажется, но возле нее как быстро ты убедился бы, что это не так! Ибо, хотя эта женщина и лучше многих, в главном она остается слабым и корыстным земным существом и не имеет каких-то чудесных свойств, оправдывающих твое поклонение. Вечная и прекрасная сущность женщины открыта смертным в образе Девы, которая кротко глядит на нас из каждого алтаря. Поклоняйся же ей, сын мой и не кощунствуй, вознося на эту высоту существо слабое, по необходимости загрязненное нечистой жизни и переменчивое, как весенний ветер.

Ибо дьявол искушает тебя, наряжая обычную женщину в оболочку неземного совершенства, примешивая в твоих мечтах к слабому земному трепету, которым она могла бы одарить тебя, отблеск небесной благодати. И этот маскарад, смешивающий небесное и земное, хотя на самом деле смешать их не только грешно, но даже и невозможно, – сильнейшее оружие дьявола, которое ему дано ради человеческой гибели и соблазна. А ты, вместо того, чтобы распознать и побороть искушение, как подобает доброму христианину, отдаешься ему и оглашаешь наш монастырь жалкими и сладострастными песенками, смущающими покой братии.

Высшее предназначение человека – победить глину, из которой он слеплен и стать бескорыстным вместилищем духа, всех равно любящего и прощающего. Ибо нам надлежит любить тех, в ком дух высок и чист, как своих отцов и пастырей. И, равным образом, тех, у кого дух убог и немощен, надлежит любить как малых детей, требующих помощи и ухода. А тебя бесы похоти, себялюбия и своекорыстия отвлекают от добрых дел, достойных христианина, заставляя любоваться лживой, приукрашенной оболочкой души и тщетно мечтать о наслаждениях, которые она могла бы тебе подарить. И глупо это, потому что наслаждение, столь прекрасное в твоих мечтах, въяве невозможно; и грешно, ибо можно ли земную сладость ласк и прикосновений ставить выше всепобеждающей силы духовного добра? Я знаю, сын мой, что душа твоя чиста и полна редких достоинств. Направь же ее на добрые дела, а не сжигай на мучительном нечестивом огне без пользы для Бога, и для людей, и для этой дамы.

Так увещевал его наш настоятель в разумных и приличных случаю выражениях.

Монах не имел вид человека согласного, но возражать не смел, а может не находил слов, способных убедить нас. Видя его несогласие, настоятель с замечательной кротостью и упорной



добротой высказал еще немало мыслей, в высшей степени полезных и поучительных. Мы смиренно присоединились к его уговорам. Наконец, подняв на нас глаза, новый монах сказал: – Я живу под вашим кровом и дал обет послушания; поэтому я постараюсь исполнить то, что вы от меня требуете. Бросьте на весы, что можете, и Некто, пославший мне мою судьбу, тоже бросит на весы. И мы посмотрим, чья чаша перевесит.

Не такого ответа ожидал настоятель, однако он пожелал брату мира и душевного спокойствия и вышел из кельи, забрав с собой розу и лютню. Во дворе он еле удержался, чтобы не разбить лютню об колено, но вид этого превосходного, прекрасно отделанного инструмента смирил его. А розу он отбросил прочь широко и разгневанно.

Осень в этом году была дождливой, монастырский двор сильно развезло. Когда я видел высокую размытую дождем фигуру, торопливо петлявшую между луж, сердце мое тихо щемило, но подойти с утешениями я не осмеливался, да и где отыскать слова, способные хоть немного помочь в его горе? Братья строили разные толки и пересуды, но проку в них не было. Я молчал, хотя нечто из козней дьявола открылось мне одному. Проходя по двору, я увидел возле кельи нового брата маленькую веточку. Она отцвела, сбросила все свои листья, но крепко вцепилась в землю несколькими незаметными корешками. Потом пошел снег и засыпал и наш двор, и эту веточку.

Тянулась зима. Зевая и крестясь, не разбирая ни дня, ни ночи, мы шли и шли к бесконечным службам. Наш новый брат молился с нами и казался ревностнее нас, потому что сна в его глазах не было.

Потом настала весна. Сквозь размокшую землю проступили острые кончики травы и вороны, слетаясь к монастырской кухне, загалдели нежно и тревожно. Новый монах смотрел спокойно, но сильно исхудал за зиму. Мы утешали себя тем, что он просто слишком усердно постился. Проходя мимо ветки, я видел торчашую из почек зелень и никак не мог собраться с духом и сказать о ней отцу настоятелю. После Пасхи двор зарос травой и я забыл про розу – на зеленом дворе она стала незаметной.

Однажды утром, выйдя из кельи, я увидел под окном нового брата пышный розовый куст, по пояс взрослому человеку. Он весь горел цветами, алыми и беспокойными, как женские губы. У открытой двери толпились все наши монахи. Иногда кто-то из них в порыве боязливой любознательности заглядывал внутрь и отходил понурившись. Они переговаривались тихими, взволнованными голосами и мне не было нужды подходить к этой келье, чтобы понять, что чаша дьявола перевесила.

Закончив рассказ, я огляделся. Солнце, готовясь выйти на небесную твердь, послало впереди себя воинство лучей, гасящее звезды. Лица моих новых знакомцев казались против света выцветшими, неясными, прозрачными как пар или дым от нашего погасшего костра. Издалека прокричал петух, объявляя, что скоро рассветет, и что где-то в той стороне есть человеческое жилье, где я смогу попросить милостыню. Но мне было жалко расставаться с этой ночью и этими спутниками, и я сидел и смотрел на них. И они молча смотрели на меня, становясь все светлее и туманнее.

— Ну ладно, монах, мне пора. Прощай! – торопливо сказал кузнец и запрыгал по кочкам на закат, в уходящую ночную темень, рассыпая в следах красноватые, быстро гаснущие искры.

— Прощай, – сказали пастух и рыбак и, переступив порог, исчезли в сиянии.

— Прощай, – повторила женщина и, поднявшись над лугом, растворилась, растеклась в редющем тумане.

И я остался один, плача и радуясь, ибо силы земные и небесные собрались здесь в эту ночь для меня, человека.

ЖИЗНЬ И ПТИЦА

Мари жила в маленьком домике на окраине леса. Домик принадлежал герцогу, и лес принадлежал герцогу, а кому принадлежала Мари — неизвестно. Старая бабушка умерла, так и не объяснив Мари, крепостная она или только арендаторша. Так или иначе, герцогу следовало платить за домик, и Мари платила, а на всякий случай доплачивала за себя. Что ей стоило, ведь Мари была самой искусной пряхой, ткачихой и вышивальщицей во всем герцогстве! Правда,



герцогство было совсем маленьким, таким же маленьким, как лесная хижина Мари по сравнению с купеческим домом, но все равно — такая мастерица пригодилась бы и в большом королевстве.

Еще Мари так хорошо знала свойства трав, корней, всяких там червей и улиток, что была и хорошей лекаркой, и искусной красильщицей, умеющей выкрасить шерсть и лен лучше любого цехового мастера. Всему этому ее научила бабушка. К тому же она могла все лето прокормиться, не выходя из лесу; а если сделать запасы, то и всю зиму. Правда, лес, как мы уже говорили, принадлежал герцогу, но...

Видите ли, этот лес был такой большой, такой густой, такой темный и страшный, что казался заколдованным. Стража герцога боялась охранять его; герцогские охоты не заезжали в него дальше опушки. А разбойников в лесу вовсе не водилось, какие разбойники, если крестьяне не решались там даже браконьерничать!

Только Мари любила лес и делала в нем все, что вздумается. Она не нашла в нем никакой нечисти, ничего опасного — кроме зверей. А всех крупных зверей из этого леса — кабанов, волков, две семьи медведей, лосей и оленей — Мари знала лучше, чем людей в ближайшей деревне. И ладила с ними, честно говоря, куда лучше... Да, окрестные крестьяне глядели на Мари косо, хотя и не трогали. Старый Герцог строго объяснил им, что всякий дар — от Бога. Дурак он что ли, чтобы остаться без лучшей рукодельницы, которая к тому же умеет лечить людей и скотину?

Еще мы забыли сказать, что Мари была молодой девушкой; ей минуло шестнадцать, да и то не наверняка. Старая бабушка знала бы это точно; но она умерла, оставив Мари избушку, кровать, сундук, красивый резной столик, прялку, ткацкий станок, полдюжины иголок, вязальные коклюшки и еще кое-какую ерунду. Мари прибавила к этому котенка Фицека, чтобы не скучать в одиночестве и зажила сама по себе.

Однажды Мари сидела под окном, плела кружево и поглядывала на дорогу. Во-первых, по этой дороге к ней могла прийти ее единственная подруга Лизелотта. Во-вторых... По этой дороге часто проезжал сын Старого Герцога, Молодой Герцог. А Молодой Герцог был настоящий красавец, рослый и крепкий, с блестящими карими глазами и стройным станом. Когда он скакал галопом, на него стоило посмотреть. Мари казалось, что ветер не успевает за его развевающимся плащом, за гривой его коня, за его длинными каштановыми кудрями... Подумав об этом, Мари начала тихонько напевать старинную балладу. В первой строфе говорилось, что бледный рыцарь собирается к Гробу Господню и клянется навеки сохранить любовь в своем сердце. Во второй строфе трогательно рассказывалось, как рыцарь умирает в Святой земле, а в третьей... Вообще-то в третьей строфе пелось о том, что верная любовь рыцаря спит в сырой земле и не мешает его невесте собираться замуж. Но Мари не окончила даже второй строфы, потому что пришла Лизелотта.

— Не знаешь ты последние новости, — весело сказала Лизелотта, поцеловавшись с Мари, — а они такие хорошие!

Лизелотта говорила так каждый раз, потому что узнавать новости Мари было неоткуда. Люди к ней приходили редко, по делу. Покончив с делами, они вспоминали, что Мари какая-то странная, даже пугающая и старались уйти поскорее. Лизелотта, наоборот, дружила со всеми девушками, и со всеми молодухами, а особенно старалась дружить со всеми служанками из замка, забегавшими в деревню к родителям. Новостей у нее всегда было много; и никто не догадывался, что все их Лизелотта обсуждает с Мари. Потому что из любой новости, если подумать, можно извлечь хоть маленькую, а выгоду. Мари любила думать, Лизелотта — извлекать выгоды, и дружба у них была крепкая.

— Молодой Герцог женится! — Заявила сияющая Лизелотта. — Он посватался к дочке Западного Герцога. Это целая неделя праздников, а то и больше.

А тебе закажут вышивать свадебные наряды. Если исхитришься, сможешь оставить немного бисера мне на оплечье... Ну и себе, конечно.

Мари молча кивнула. Она снова села у окна, слегка отвернувшись от подруги. Не совсем вежливо, но Лизелотта на такие пустяки не обижалась.

— До самой свадьбы еще далеко. — Продолжала Лизелотта, — но, даст Бог, сговор тоже будут праздновать... С вином и музыкантами, а Мари? — Она заглянула в лицо подруге, и не особенно смутилась, не увидев в нем большой радости. — Дашь мне одеть те желтые бусы, ладно?



Мы, деревенские, пойдем в замок, танцевать со слугами.

Тебе это все ни к чему. А мне хорошо бы подцепить кого из слуг, не все же в земле копать...

Мари молча кивнула, но Лизелотта, посмотрев на нее, слегка задумалась.

— А знаешь, тебе ведь тоже можно будет пойти в замок. При Старом Герцоге тебе никто слова плохого не скажет! Замуж-не замуж, а потанцевать, угоститься!

Точно, будем гулять вместе!

И довольная Лизелотта убежала домой.

Мари осталась сидеть у окна. Для работы над кружевом требовалось много света. После некоторой паузы она запела третий куплет песни и допела его до конца с большим выражением.

Через два дня к ней пришли заказывать вышивки для свадебного наряда Молодого Герцога. Много вышивок: и на пояс, и на перчатки, и на штаны с камзолом, и на весь плащ. С заказом пришла Берта, ключница, и Мари встретила ее с радостью. Старая Берта относилась к Мари не так хорошо, как Лизелотта, но, если подумать, то даже лучше. Берта тоже не верила, что Мари — ведьма, только, в отличие от Лизелотты, делала это совершенно бескорыстно.

— Ведьма, тоже придумают! — Возмущалась Берта. — Ты, Мари, никому в своей жизни зла не сделала. Да если тебя с ними сравнить, ты ангел, а не ведьма. Только уж очень простоватая.

Старая Берта знала Мари давно и за что-то ее вроде как жалела. Она часто повторяла. — Запомни, девонька: если ты не знаешь зла, это не значит, что его нет на свете. Если ты, Мари, не ищешь зла, оно тебя само найдет. — Тут Берта с мрачным выражением качала головой и повторяла: — Обязательно найдет, не задержится.

На этот раз Берта рассуждала не о мирском зле, а о дочке Западного Герцога. — Совсем молоденькая, худая как мальчик. Дай ей Бог пережить первые роды! Ну да герцогам — хоть Старому, хоть Молодому, нет до этого дела. Единственная дочка, наследница, вот они и посватались. А нам, дворне, что до хозяйского счастья! Погуляем, и хорошо!

Тут Берта слегка задумалась и сказала: — А знаешь, Мари, ты тоже можешь прийти. Пусть все увидят, что ты обычная девушка, никакая не колдунья. — И, оглядев Мари, добавила: — Да еще и красавица!

Мари было грустно, но она, подумав, решила пойти в замок. Лизелотта и старая Берта советовали одно и то же, а других друзей у нее не было. Пока что она шила у окна и пела песни — одну за другой, все, которые помнила.

Потом настал день помолвки. Ее праздновали у Западного Герцога, но все, не уехавшие со свитой, гуляли во дворе замка. Туда же пришли и деревенские. Было весело; во двор выкатили несколько бочек вина и пива; поставили столы... Мари даже не подходила к еде. Она плясала без перерыва. Сначала Мари пригласил хромой Гийом. Он был рыцарем и не боялся никакого черта. Потом ее перехватил толстый Альмарик, тоже рыцарь. Потом Пейоль, оруженосец, увел Мари у стариков и сказал, что он уже почти воин и черт ему тоже не страшен. Мари слегка опасалась танцевать с малолеткой, но Пейоль прыгал и плясал как взрослый, даром, что доставал девушке до плеча... А потом Мари пригласил Франц, рослый красивый парень из деревни и они танцевали до ночи, пока усталые музыканты не ушли спать... Потом Франц провожал Мари до дому, но молчал; стеснялся.

Засыпая, Мари вспоминала лицо Франца. Попроще и постарше Молодого герцога, он был на него похож. В деревне болтали — не без причин. То есть не без одной-единственной причины, которую звали Старым герцогом. Мать Франца до замужества работала в замке. А Хитрый Йотек, который считался отцом Франца, после женитьбы стал старостой и первым богатеем в деревне.

— Выгодный жених, — Думала Мари с грустной улыбкой. — Если Йотек жадный и хочет богатую невестку, лучше меня ему никого не найти. Я зарабатываю как хороший кузнец. И до людских пересудов ему, видно, нет дела, вырастил же он Франца как родного сына, да и старую Йотку не бьет... Чушь, конечно, но может и не совсем чушь — все люди женятся или выходят замуж... Как-то это у них получается...



И Мари свернулась в постели поудобней. Думать все это ей было грустно, но как-то тепло. А серый Фицек лежал сверху на одеяле, мурлыкал и перебирал лапками.

Этой ночью Мари видела странный сон. Вроде бы в лесу, в самой глуши, стоит избушка, маленькая и ветхая. Вокруг нее ровная зеленая поляна с липами и кленами. На самую большую липу села птица с золотыми перьями. На спине ее перья отливали синевой, на голове и шейке — огнем. Птица долго пела нежным переливчатым голосом, а потом посмотрела в лицо Мари и сказала — Жизнь есть сон.

Утром Мари села вышивать белый бархатный плащ для свадебного наряда молодого герцога. До вечера она вышила аж четверть плаща и успела спеть много песен, грустных и веселых. А поздно вечером, когда совсем стемнело, к ее дверям пришла старая Берта.

— Собирайся, Мари! — Сказала Берта, с трудом отдышавшись. — Будешь спать эту ночь в замке. И герцогский плащ прихвати, а то сгорит.

Мари удивилась, но не сдвинулась с места.

— Подруга у тебя! — Продолжала ключница, перетягивая ленты на башмаке. — С такими друзьями никакие враги не нужны. Парни из деревни второй день как перепились, а Лизелотта им всем клянется, что ты — черная ведьма и Фицек — твой ребенок, которого ты прижила от самого дьявола!

Мари промолчала. Два дня назад Лизелотта чесала Фицеку шейку и играла с ним веревочкой. С ребенком Нечистого она побоялась бы так фамильярничать... Но старая Берта ни разу в жизни ей не солгала.

— Все было путем, пока вы с Францем не снюхались. Лизелотта сама на него глаз положила. Он — самый богатый жених в деревне, она — самая красивая. До тебя ей, конечно, далеко, но ты-то где! В лесу, на отшибе! А теперь, когда Франц тебя разглядел как следует...

Берта выпрямилась, вернула на место сбившийся чепец и с трудом, опираясь на стенку встала с лавки.

— Собирайся, Мари! А то сожгут тебя вместе с избушкой и виноватых не будет.

“Это все наяву. Надо что-то делать.” — Подумала Мари.

— Спасибо, Берта. Возьми с собой герцогский плащ — унесешь в замок... А нога у тебя опять болит в колене?

— В колене... Забудь про нее, Мари, сейчас не до этого!

— Знаешь, где ручей и поляна с двумя рябинками? Пришли туда Златку в воскресенье к полудню, я ей для тебя мазь дам...

Но Берта так и стояла на пороге. Мари пришлось сказать — А насчет деревенских не бойся, я найду, где спрятаться... — И она пошла почти насильно провожать старую БERTУ к дверям. Но на пороге не выдержала, поцеловала ключницу и шепнула “Спасибо!”

Берта перекрестила Мари и похромала к замку.

Вещи Мари спрятала в кустах возле опушки. С Фицеком было трудней: он не боялся леса, но мог по глупости подойти к людям, к той же Лизелотте... Пришлось посадить котенка в корзину. Мари управилась почти во-время; хотела еще пойти за бабушкиным лоскутным одеялом, когда услышала вдали голоса, много голосов...

— Т-с... — прошептала она котенку и пошла в лес.

Позади долго галдели, потом что-то трещало, но Мари решила не оборачиваться. Первую ночь они с Фицеком спали под старой елью, на ковре из сухих иголок. Утром Мари нашла узкую извилистую тропинку из своего сна. По ней она вышла к той самой, приснившейся избушке. Ветхой, конечно, но ее можно было починить. Мари до ночи устраивалась на новом месте... А утром на липу села золотая птица. Она ничего не говорила, но пела так сладко и нежно, что Мари почувствовала себя почти счастливой.

Прошли годы. Золотая птица прилетала на поляну каждое утро, пела песенку и улетала по своим делам. Мари казалось, что птица поет для нее. Фицек стал большим пушистым котом,



день и ночь охотился в лесу, а дома только спал. Он подружился с лисой, жившей тут же, по соседству, и каждое лето играл с ее лисятами. Лесная жизнь ему нравилась — второго такого толстого и довольного кота Мари никогда не видала. Сама Мари жила не то, чтобы весело, но спокойно. Лес давал ей самое необходимое, а люди приносили все остальное... Поселившись в лесу после того давнего пожара, Мари прослыла великой ведуньей и знахаркой. Как-то это вышло само собой. Сначала Мари лечила старую БERTУ с ее большими ногами, да и другим служанкам не отказывала — они-то перед ней ничем не провинились! Потом за девчонками из замка пошли все подряд, даже те деревенские, которые сожгли ее дом. Но Мари было все равно. Она старалась дать каждому то, чего он просит. А люди тащили ей еду и деньги — кто что мог. Теперь они боялись прогневать могучую колдунью... Хотя на самом деле Мари не умела гневаться.

Лет через пять на поляну с рябинками пришел не кто-нибудь, а сама Лизелотта. Мари узнала ее с трудом: крепкая стройная девушка стала дородной бабой... Хотя лицо бывшей подруги изменилось меньше.

— Помоги мне, Мари! — прохныкала Лизелотта вместо “здрати”. Мари молчала. Она опешила.

— Хорошо тебе в лесу, живешь как королева и ни от кого не зависишь, а я...

И Лизелотта сдвинула вбок челец, показывая голову. На виске была шишка — большая и черная.

— А тут посмотри! — Она закатала рукав, потом задрала юбку, показывая Мари множество синяков и ссадин. Похоже, на Лизелотту обрушился сарай или, может быть, стена дома. Ладно уж, припарки для синяков Мари ей даст...

— Все вино проклятое! — Продолжала Лизелотта. — Пока Франц трезвый, он мне слова плохого не скажет — он вообще говорит мало. А как напьется... Тоже больше молчит, когда-нибудь крикнет “ведьма!” или “шлюха!” Но как дерется!

Помоги мне, Мари, что тебе стоит! Ты, говорят, Жужелкиного мужа от пьянства отвядила, а мы с тобой все-таки старые знакомые... Франц ведь каждый год хуже и хуже становится, если он меня совсем прибьет, это будет на твоей совести...

И Лизелотта, присев на землю, уставилась Мари прямо в глаза.

“От нее не отцепишься — подумала Мари, — разве что силком прогнать. И то не выйдет — вон она какая здоровая.”

Мари вздохнула и стала доставать травы из корзинки. Объяснила Лизелотте, что с ними делать, а потом не выдержала — улыбнулась ей прямо в лицо и сказала: “Жизнь есть сон.”

И потом, много лет подряд, Мари повторяла это каждому, кто приходил к ней за помощью.

Через три года после Лизелотты она это же сказала Францу. Франц изменился меньше, чем жена, но тоже сильно. Солнце высвечивало морщины на его лице, и глубокие, и мелкие. Морщин было много, только ноздри остались гладкими. Бывший кавалер Мари смущался, краснел, старался смотреть в сторону. Он даже пробормотал что-то вроде “как поживаешь”, но Мари только улыбнулась в ответ.

— Помоги мне, Мари! — И Франц, помявшись, выложил на траву полуталер, по деревенским меркам целое сокровище.

— Не могу я больше так жить! Пока пил, было полегче, а сейчас что-то случилось. Воротит меня от вина. А так... Тоска несусветная. Работаешь как вол... Как рыба об лед, работаешь! Все бы хорошо — дом, хозяйство... Дети растут, старший помогает уже... — И Франц улыбнулся какой-то жалкой кривой улыбкой. — Разве же я изверг?! Я люблю детей!

Но их много! Лизка как крольчиха, чуть что — ребенок! И все здоровые, даже ничем не болеют! Где я для сыновей столько земли возьму? А дочкам приданное?! Так ведь обнищать можно!

Сосед, Йоська кривой, говорит, ты ему травку такую дала...

Франц стоял, но и стоя он сумел заглянуть в глаза Мари снизу вверх, совсем как Лизелотта.

Мари полезла в торбу за травами. — Жизнь есть сон, Франц. — Пробормотала она. — Жизнь есть сон.



С каждым днем она верила в это больше и больше. Когда прошло пятнадцать лет ее жизни в лесу, на поляне появился Молодой Герцог. Теперь он стал Старым Герцогом и больше походил на отца, чем на себя, прежнего.

— Девушка, — сказал Герцог, — мне нужна Мари, лесная колдунья. Это, должно быть, твоя мать? Позови ее, я хорошо заплачу...

— Меня зовут Мари. — Ответила та. — Другой Марии в этом лесу нет.

— Да? Но ведь та Мари... — Герцог впился в ее лицо узкими карими глазами и смущенно заморгал. — Хотя — какая разница? — Перебил он сам себя и отвел взгляд. — Мне нужна твоя помощь, знахарка, хотя я сам не знаю, что тут можно сделать...

И герцог небрежно присел на траву, приготовившись рассказывать.

— Моя покойная жена умерла родами, оставив дочку. Сейчас ее пора сватать, и я попал в трудное положение... Ее руки просят два герцога — Северный и Восточный. Северный Герцог — молодой храбрый рыцарь, который рачительно управляет своим наделом. У него сильное войско, а сам он хороший командир. Но герцогство у него совсем маленькое. Северный по уши влюблен в мою дочку и очень ей нравится. Если я соглашусь, зять станет моим верным союзником, а после моей смерти все три герцогства — Северное, Западное и Центральное — объединятся под его началом. Неплохое королевство получится!

Но... Восточное герцогство — очень большое и богатое, куда больше, чем наши три, вместе взятых. Обидно упускать такой кусок. Да и страшно... Если Восточный Герцог решит воевать, ничего мы с ним не сделаем. Сам он дурак и пьяница, до макушки заплывший жиром, но герцогство! С таким наделом он задавит нас числом, как мошек. А ему после сорока лет пьянства и обжорства втемяшилось жениться и завести наследника!

Пойми, Мари, я никак не могу отказать ему, да и случай такой упускать грех! Вряд ли он сможет сделать ребенка, а если вовремя очокурится, моя дочка унаследует все! Я об этом позабочусь...

Но если этот урод каким-то чудом переживет меня, он тут все разорит. А Северное герцогство — маленькое, зато ладное, и его хозяин стал бы мне хорошим наследником!

Скажи, Мари, что тут можно сделать?

Мари посмотрела в глаза Герцогу. У его отца, Старого Герцога не могло быть такого лица — красного, жалкого, заискивающего... А может, она его хуже знала.

— Если твоя дочка выйдет замуж, Северный Герцог не женится с горя на другой? Если он погодит хотя бы год, все уладится.

— Погодит, конечно. Разве что в монастырь уйдет — он влюблен как последний дурень.

Но — добавил герцог — отравить Восточного Герцога слишком рискованно. Я об этом думал. Кто-то или увидит, или догадается. Если будет хоть тень подозрения, с его наделом можно проститься.

— Зачем его травить? — Рассмеялась Мари. — Я тебе скажу состав из самых простых травок — для успешного зачатия. К нему ни один лекарь не придерется. Дочка будет собирать травы вокруг замка на виду у всех, открыто варить из них зелье и пить вместе с мужем... Потому что ей эти травы не повредят. Она ведь сейчас тоненькая, как когда-то была ее мать, правда?

— Тогда что это за зелье? — Спросил герцог подозрительно.

— Хорошее зелье. — Улыбнулась Мари. — Укрепляющее, и в кровати действует. Только от него человек ест вдвое больше. Если давать его обжоре, беднягу скоро задавит собственный жир, а там и удар хватит.

— Я отблагодарю тебя, Мари. — Серьезно сказал герцог. — Чего ты хочешь?

Мари опять рассмеялась. — В лесу есть все, кроме соблазнов. Одно горе, что котик сильно постарел... И то — попрошу, принесут мне из деревни любого котенка... Сам видишь — чего мне хотеть?

— Завидовал бы я тебе, Мари, если бы не родился Герцогом! Пусть будет с тобой моя вечная благодарность! — Добавил Герцог, высыпая из мешочка несколько золотых.

Мари пожалала плечами и взяла их. — Жизнь есть сон, Ваша милость. Жизнь есть сон...

Ее жизнь действительно походила на сон. Дни летели, легкие и одинаковые. Они складывались в годы... Годы, кажется, тоже во что-то складывались, но Мари ленилась считать.



Новый кот, Гантек, был весел и здоров, птица не менялась, и солнце так же весело освещало ее порог сквозь зелень липы — так с чего было меняться Мари?

Зато Лизелотта изменилась сильно. Она была уже не дебелий бабой, а толстой, рыхлой старухой и ковыляла на распухших ногах с большим трудом. Мари не помнила, сколько лет они не виделись, но догадалась, что много, очень много.

— Помоги, Мари. — Сказала Лизелотта, совсем как в первый раз.

Мари покачала головой. — Болезней у тебя уйма. Что ж ты раньше не приходила?

— Болезни... Что толку воевать с ними, если ты все равно стареешь — день за днем? Если бы старело только тело, а душа оставалась молодой и сильной — был бы прок воевать с болезнями. А так... Что толку?

— Душа? — удивилась Мари. Она вдруг поняла, что никогда прежде не слышала этого слова от Лизелотты.

— Ох, Мари... — И Лизелотта засмеялась тихим визгливым смехом. — Прежде я не думала о душе. Но я и о своих ногах не думала, пока они не стали болеть.

— Помочь тебе от боли в душе? — Мари подумала. — Травы такие есть... Но, Лизелотта, тебе пора думать о другой жизни... И потом — ни красоты, ни здоровья у тебя уже нет. Отберу я у тебя душу — что останется?

— Мне ничего не надо Мари, если нет главного!

Зачем жизнь, если нет силы сделать по-своему, если мужики смотрят на тебя, как на пустое место, а кусок в брюхо не лезет? Зачем мне душа, Мари, когда у меня такое тело?

— Я слышала, у тебя много детей. — Осторожно ответила Мари.

— Какие дети! Было семь штук, здоровые, крепкие, а теперь никого нет. Жданка утопилась, Никол завербовался в солдаты, Йотек женился на шлюхе, я его знать не хочу, Бладина вышла замуж в другом конце герцогства, Мика, мой последний, вырос вовсе деревенским дурачком — какая от него радость!

Петер, старший, принял после смерти Франца хозяйство... Ну и меня заодно. Но он женат на такой дряни! В невестах только что жопу мне не лизала, а теперь — поди, угоди великой барыне! И злюка я ей, и ругательница, и руки у меня по хозяйству дрожат!

Выгнали меня в сарай, как я когда-то — старую Йотку, прозвали сарай вдовьим домом, и смеются! Но Йотка была стерва гулящая, а меня за что?!

Помоги мне, Мари! Я не хочу больше так жить. Я вообще жить не хочу!

Мари только головой покачала. — Но ведь это грех, Лизелотта.

— Ну и что? — Уверенно сказала Лизелотта. — Один грех тебе простится. Много ли ты в своем лесу грешила?

Лизелотта вдруг подползла к Мари и заглянула ей прямо в лицо.

— Помоги, Мари. У меня кроме тебя никого нет.

Ошарашенная Мари только глаза вытаращила.

— Конечно, тебе есть, что вспомнить, но взгляни, чем все обернулось! Как — ты и как — я! Разве молодые знают, что им на пользу, а что во вред? Обе мы сделали друг другу судьбу, Мари. Твоя вышла лучше.

Лизелотта ухватила Мари за руку своими рыхлыми, дрожащими пальцами. Та подумала и не стала их стряхивать.

— А мне теперь жить совсем незачем. И сад, и огород, и внуки, и свиньи, которых я прежде каждый год резала — все это твердит мне: Умирай, старая, ты не нужна. Веришь ли, Мари, теперь я боюсь гусей... Проходу не дают!

Мне пора уйти. Но я хочу уйти тихо, без боли. Хочу в последний раз видеть солнце таким же жарким, а липы — такими зелеными, как раньше, в те счастливые годы, когда мы смотрели на них вдвоем... Помнишь, какими мы были ладными? ...А потом я хочу заснуть... Заснуть — и все...

Лизелотта заглянула в глаза Мари маленькими сморщенными глазами.

Мари молчала. Ей хотелось расхохотаться — уж больно хорошо она помнила прежнюю Лизелотту. Чтоб не сделать чего лишнего, Мари полезла в сумку.

— Человек, выпивший эти травы, умрет так, как ты хочешь... Только потом он весь покроется синими пятнами, так что другого незаметно отравить этим ядом нельзя.



— Спасибо и на том, — сказала Лизелотта, выкладывая на траву пяток яиц. Она деловито спрятала зелье и затопала прочь. Мари смотрела ей вслед. Подойдя к деревьям, Лизелотта обернулась. В ее глазах блеснуло что-то знакомое, прежнее. — Так что, жизнь есть сон, Мари?
— Да, Лизелотта. — Улыбнулась Мари. — Жизнь есть сон.

И снова проходили годы.

Как-то раз Мари вышла на поляну и опешила. Там стоял Молодой Герцог, точно такой же, как в те дни, когда ей самой было шестнадцать. Мари застыла на месте, борясь с желанием протереть глаза.

— Здравствуй, красавица. — Учтиво сказал стройный чернокудрый юноша в красном плаще. — Ты не скажешь мне, как найти Мари, колдунью?

— Меня зовут Мари.

Юноша впился в нее глазами, потом сморгнул. — Должно быть, ты не лесная колдунья, а волшебница, способная принимать любой образ! — Он галантно поклонился, подметая землю перьями со своей шляпы.

Мари только хмыкнула. Она села на траву и приготовилась слушать.

— Я должен жениться, госпожа... Родители нашли мне невесту... Да ее и искать не надо. — Перебил сам себя гость. — Дочь Южного герцога — единственная девушка, которая подходит мне по рангу. Старый Герцог, мой отец, хочет со временем присоединить Южное Герцогство к нашему королевству. Сама Клодина — добрая девушка... Только скучная, все время молится да раздает милостыню. — Молодой Герцог замялся и покраснел до ушей. — Но все равно, я должен любить ее.

Он вздохнул и покраснел еще больше.

— Но у меня не получается... У меня не получилось бы, будь Клодина хоть первой красавицей в королевстве! Я люблю другую. Между нашим замком и лесом стоит домик. Там живет простая девушка, сирота. Слуги говорят — она искусная вышивальщица. — И Молодой герцог показал Мари свои перчатки. Кайма на них была вышита очень недурно.

— Когда я ее вижу — сам не знаю, что со мной делается! Знаешь, волшебница, я все время езжу то в город, то к соседям, чтоб только проскакать мимо избушки, взглянуть на ее милое личико в окне... Я женюсь, как положено, на Клодине, но без этой девушки я жить не могу...

И Молодой Герцог, задумавшись, замолчал.

— Что ж ты хочешь? Приворотное зелье? — Мари пожала плечами. — Судя по всему, оно тебе не нужно.

Молодой Герцог покраснел еще больше. — У меня будет жена... Я принесу ей клятвы, которые собираюсь нарушить. Но я не хочу, чтобы моя жена страдала от этого! Клодина и так невеселая, а если начнет плакать и кукситься, она меня потопит в слезах!

Старый оруженосец моего деда шепнул кое-что. Помогите мне, Мари, как когда-то помогла ему...

— Только-то! — Рассмеялась Мари. — У тебя будет веселая жена. А если служанка шепнет ей что-то неприятное, она все забудет до того, как выйдет из комнаты.

Молодой Герцог взял у Мари травы, отдал увесистый кошелек, но уходить медлил. — Ты не сказала мне, что жизнь есть сон, Мари.

Мари снова засмеялась. — Жизнь есть сон, но... Если бы твой дедушка так думал, тебе бы снилось, что ты — наследник одного герцогства, а не четырех!

Юноша ушел, а Мари еще долго сидела на поляне и тихо посмеивалась.

А время шло дальше. Мари часто вспоминала свой последний разговор с Лизелоттой. Та оказалась права. Тело Мари оставалось сильным и ловким, а душа стала уставать. Во всем лесу никто кроме нее не знал такой напасти — ни волки, ни медведи, ни кабаны, ни всякая мелочь вроде мышей с лягушками. Старый секач, например, всю жизнь жрал желуди, но они ему по-прежнему нравились. А Мари после разговора с Молодым Герцогом стала скучать... Годы шли дальше, но они были такие одинаковые! К ней приходили новые, незнакомые ей люди с теми же, давно надоевшими лицами. С трудом, кривясь от душевной боли, они выдавливали из себя



те же просьбы, с которыми когда-то прежде шли их бабушки и дедушки. Мари смотрела в землю, чтобы не пугать людей странным остановившимся взглядом. Им незачем знать, что мир казался ей белесым, как выгоревшая на солнце вышивка. Ни хлеб, ни вода в ручье не имели прежнего вкуса. Мари приелась даже смена зимы и лета. Золотая птица пела по-прежнему сладко, но этой радости уже не хватало на весь день.

Однажды Мари сидела на крыльце перед восходом солнца — так же, как делала это все прошедшие годы. Она не ждала от нового дня ничего особенного. Но вдруг лес, поляна, прикрытые ее юбкой ступеньки — все вспыхнуло прежней красотой и яркостью. Мари с восторгом смотрела, как первые лучи рассвета проходят сквозь сочную густую зелень липы. На ветку села птица. В золотых лучах ее спина отливала синевой, а голова и шея — огнем.

Птица посмотрела в глаза Мари, и свет вокруг нее стал меркнуть, темнеть...

— Жизнь есть сон. — Сказала птица. — Но в ней бывают интересные подробности.

